

Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ



СМЕРТЬ  
БОГОВ  
ЮЛИАН  
ОТСТУПНИК



Христос и Антихрист

Дмитрий Мережковский

**Смерть Богов. Юлиан Отступник**

«Public Domain»

1896

## **Мережковский Д. С.**

Смерть Богов. Юлиан Отступник / Д. С. Мережковский —  
«Public Domain», 1896 — (Христос и Антихрист)

Д.С.Мережковский (1865 – 1941) – один из самых читаемых и модных писателей своего времени, один из родоначальников русского символизма, давший своим поэтическим сборником «Символы» имя новому направлению. Роман «Юлиан Отступник», вошедший в трилогию «Христос и Антихрист», рассказывает об императоре Юлиане, прозванном за свою попытку возродить умирающую языческую религию «Отступником».

## Содержание

Пленник культуры	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	21
IV	32
VII	45
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Дмитрий Сергеевич Мережковский Юлиан Отступник (Христос и Антихрист-1)

## Пленник культуры (О Д. С. Мережковском и его романах) вступительная статья.

«Я родился 2-го августа 1865 г. в Петербурге, на Елагином острове, в одном из дворцовых зданий, где наша семья проводила лето на даче. До сих пор я люблю унылые болотистые рощи и пруды елагинского парка». "Помню, как мы забирались в темные подвалы дворца, где на влажных сводах блестели при свете огарка сталактиты, или на плоский зеленый купол того, же дворца, откуда видно взморьеа зимою мы жили в старом-престаром, еще петровских времен, Вауаровском доме, на углу Невы и Фонтанки, у Прачечного моста, против Летнего сада: с одной стороны – Летний дворец Петра 1, с другой – его же домик и древнейший в Петербурге деревянный троицкий собор"<sup>1</sup>.

Эти строки из «Автобиографической заметки» Мережковского можно было бы поставить эпиграфом к его историческим произведениям из русской жизни: роману «Петр и Алексей» (1906, из трилогии «Христос и Антихрист», драме для чтения «Павел 1» (1909), романам «Александр 1» (1911) и «14 декабря» (1918), составляющим вторую трилогию. Как видно, с детских лет он дышал воздухом старины, был окружен реалиями прошлого и даже его тенями, мог близко наблюдать быт русского Двора: отец писателя, Сергей Иванович, в течение всего царствования Александра II занимал должность столоначальника в придворной конторе.

Идет лакей придворный по пятам  
Седой и чизной фрейлины-старушки...  
Здесь модные духи приезжих дам -  
И запах первых листьев на опушке,

И разговор французский пополам  
С таинственным пророчеством кукушки,  
И смешанное с дымом папирос  
Вечернее дыханье бледных роз...

вспоминал писатель о впечатлениях своего детства и отрочества в поэме «Старинные октавы», которую жена Мережковского, поэт и критик З. Н. Гиппиус, недаром назвала впоследствии его лучшей автобиографией.

Впрочем, сами Мережковские не могли похвастаться громкой родословной. Прадед писателя был войсковым старшиной на Украине, в городе Глухове, а дед лишь в царствование императора Павла I приехал в Петербург и поступил «младшим чином» в Измайловский полк. «Тогда-то, вероятно, – писал Дмитрий Сергеевич, – и переменял он свою малороссий-

---

<sup>1</sup> Д. Мережковский. Автобиографическая заметка.кн. Русская литература XX в". Под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. 1. М" IS15, стр. 253.

скую фамилию Мережки на русскую – Мережковский». В жилах бабушки текла древняя кровь Курбских.

И все же происхождение, принадлежность к миру чиновничьей касты (отец закончил службу в чине действительного тайного советника, что соответствовало 2-му классу табели о рангах: выше был только канцлер), воспитание (3-я классическая гимназия, с ее зубрежкой и муштровкой) как будто бы не предполагали появления «бунтаря», разрушителя традиционных нравственных и эстетических канонов, одного из вождей нового направления в литературе – символизма, критика имперских и церковных устоев, книги которого арестовывались цензурой, а самого его едва не отлучили от официальной церкви.

Драма «отцов» и «детей» обозначилась рано. В многодетной, внешне благополучной семье Мережковский чувствовал себя одиноким и несчастным, боялся и не любил отца. «У меня не было школы, как не было семьи», – скажет он позднее. Юному Мережковскому навсегда запомнилось столкновение Сергея Ивановича, потрясенного событиями 1 марта 1881 года – убийством «царяосвободителя» народолюбцами, со старшим сыном Константином (будущим известным профессором зоологии и ботаники), который оправдывал «извергов». Эта тяжелая ссора, длившаяся несколько лет, в конечном итоге свела в могилу обожавшую детей мать.

Сумеречные фантазии и мечты, бушевавшие Мережковского ребенка, были как бы дальним предвестием эсхатологических позднейших исканий, тяги к «бездне» и «мгле».

Познал я негу безотчетных грез,  
Познал и грусть, - чуть вышел из пеленок.  
Рождало все мучительный вопрос  
В душе моей; запуганный ребенок,  
Всегда один, в холодном доме рос  
Я без любви, угрюмый как волчонок,  
Боясь лица и голоса людей,  
Дичился братьев, бегал от гостей...

Но «бездна» и «мгла» заявят о себе позднее. Пробудившееся у Мережковского раннее влечение к литературе, к стихотворчеству прошло под солнечным знаком Пушкина (тринадцати лет написал он свое первое стихотворение в подражание «Бахчисарайскому» фонтану). Детские опыты были откровенно слабы, и в памяти Мережковского на всю жизнь осталась фраза Достоевского, который выслушал их «с нетерпеливою досадой»:

– Слабо... плохо... никуда не годится... чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

Однако книжный груз только накапливался с годами, хотя учителя и менялись. В университетские годы – Мережковский поступил в 1884 году на историко-филологический факультет Петербургского университета – он испытал сильнейшее влияние философов-позитивистов Канта, Милля, Спенсера. (Как вспоминает Гиппиус, Мережковский, познакомившись с ней, восемнадцатилетней девушкой, в 1888 году, в Боржоме, посоветовал ей читать Спенсера.) Правда, учение позитивистов – стремление поставить уметвенный мир человечества на твердую основу науки через совершенное отрицание всяких теологических и метафизических идей – приходило в противоречие с религиозными идеалами, впитанными Мережковским с детства, рождало безысходные сомнения.

Уже с этого момента начинается раздвоение, характерное для личности и творчества писателя. Оно будет порождать антиномии и метафизические противопоставления, метания из одной крайности в другую, попытки примирить антихристианский нигилизм Фридриха Ницше с исканиями Вселенской церкви Владимира Соловьева.

Как бы то ни было, но литературный путь Мережковский начинает в среде либерально-демократической. Своим первым публичным выступлением (1881 год) он обязан поэту и революционеру-народнику П. Ф. Якубовичу, а близким для него журналом делаются «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-Щедрина и Д. Н. Плещеева. К этой же поре относится дружба Мережковского с С. Я. Надсоном, тогда еще юнкером Павловского военного училища, которого он «полюбил, как брата». Они посвящают друг другу стихи, в которых звучат расхожие гражданские призывы, мотивы скорби и туманного протеста против общественной реакции. Поэма Надсона «Три встречи Будды» навела Мережковского на мысль написать длинное пышное стихотворение «Сакья-Муии» – статуя Царя Царей смиренно склоняется перед нищим.

Оно вошло во все сборники чтецов-декламаторов и принесло автору популярность. Другим ближайшим приятелем Мережковского становится поэт Н. Минский, уже сделавший себе имя на воспевании «больного поколения», которое «стоит на распутьи, не зная пути».

Надо сказать, что поэзия Мережковского не самая сильная часть его огромного наследия, Стихи его часто подражательны, банальны, однообразны. И не случайно Мережковский, в собрание своих сочинений (в 17 томах готовя полное 1911-1913 гг. в издательстве Вольфа и в 1915 г. у Сытина), поместил там немало критических мелочей, но включил лишь несколько десятков стихотворений. Книжность, впитанная огромная культура мешали Мережковскому-поэту прорваться к первоуродным впечатлениям.

Под влиянием народнических идей, бесед с тогдашним властителем дум, публицистом и критиком Н. К. Михайловским и Глебом Успенским молодой Мережковский отправляется «познавать жизнь». Он путешествует по Волге и Каме, посещает Уфимскую и Оренбургскую губернии, знакомится с основателем религиозно-нравственного учения, основанного только на Евангелии, крестьянином Тверской губернии В. К. Сютяевым, которого навещал и Лев Толстой. Мережковского привлекают отколовшиеся от официальной церкви течения и секты, начиная с мощного народного «раскола» и кончая хлыстовством и скопчеством. Он не шутя собирается по окончании университета «уйти в народ» и стать сельским учителем. Но уже иные ориентиры возникают для него.

К началу 90-х годов Мережковский испытал, по собственному признанию, глубокий религиозный переворот.

Это совпадает по времени с появлением в русской литературе нового направления – символизма.

Первым манифестом отечественных символистов можно считать вышедшую в 1890 году книгу Н. Минского «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». В ней говорилось о тщетности и тленности всего перед лицом неизбежной смерти и как единственно реальное утверждалось «вечное стремление к несбыточному». Опираясь на труды русской философии и прежде всего В. Соловьева, Мережковский углубил и развил эти постулаты.

В одном и том же 1892 году появился его поэтический сборник с многозначительным заглавием «Символы» и ставшая программной для нового направления работа «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы».

Идеи, носившиеся в воздухе, воплотились в формулы.

«Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии так же, как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века», – писал в своей характерной «антиномической» манере Мережковский, отказываясь от собственных недавних позитивистских устремлений и призывая к «высшей идеальной культуре».

Восстав против «удушающего мертвого позитивизма» и назвав учителями символистов «великую плеяду русских писателей» – Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Мереж-

ковский провозгласил «три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширения художественной впечатлительности»".

К тому времени, с появлением поэтических сборников К. Бальмонта «В безбрежности» и «Тишина», стихов Д. Мережковского, Н. Минского, З. Гиппиус, а позднее трех сборников В. Брюсова «Русские символисты» (1894-1895) в литературе оформилось это новое направление, черты которого были предвосхищены уже в поэзии К. Фофанова, Мирры Лохвицкой и, конечно, Вл. Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь,  
Что все видимое нами -  
Только отблеск, только тени  
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,  
Что житейский шум трескучий  
Только отклик искаженный  
Торжествующих созвучий?

Символизм – русский символизм – явление очень широкое и еще нуждающееся в осмыслении. Сами символисты рассматривали свой метод как принципиально новый тип художественного и нравственно-религиозного мышления и с необыкновенной отчетливостью выразили в своем творчестве кризисный характер эпохи, отрицание буржуазного быта и морали, неизбежность великих исторических катаклизмов. В лучших своих произведениях они исполнены трагического величия.

В самом общем плане символизм отражал кризис традиционного гуманизма, разочарованность в идеалах «добра», ужас одиночества перед равнодушием общества и неотвратимостью смерти, трагическую неспособность личности выйти за пределы своего "я":

В своей тюрьме, – в себе самом, ты, бедный человек,  
В любви, и в дружбе, и во всем Один, один навек?..

Д. Мережковский. «Одиночество»

В то же время символизм представлял собой в определенном смысле и реакцию на голое безверие, позитивизм и натуралистическое бытописание жизни. Поэтому он нередко проявлялся там, где натурализм обнаруживал свою несостоятельность.

Нападая на плоское описательство, символисты предлагали другую крайность: пренебрегая реальностью (или недооценивая ее), они устремлялись «вглубь», к метафизической сущности видимого мира; окружающая их действительность казалась им ничтожной и недостойной внимания поэта. Это был всего лишь «покров», за которым пряталась вожденная «тайна» – главный, по мнению художника-символиста, объект. Нужно учитывать и то, что поиски, которые велись символистами, были частью широких исканий, какими отмечена русская духовная жизнь той поры.

К неподвзятой, объективной оценке этих исканий мы только приходим.

"До сих пор широко бытует представление о том, – пишет доктор философских наук А. Кулыга, – что в конце прошлого – начале нынешнего века в культурной жизни России царил сплошной декаданс, упадок мысли и нравственности. Декаданс был, но возник и своеобразный философско-религиозный ренессанс, вышедший за рамки страны и всколыхнувший духовную жизнь Европы, определивший поворот западной мысли в сторону человека.

Корни таких философских направлений, как феноменология, экзистенциализм, персонализм, – в России. Здесь был услышан ве Ликий вопрос Канта: «Что такое человек?» Русские попытки ответа на него эхом прозвучали на Западе, а затем снова пришли к нам как откровения просвещенных европейцев". "Усилиями русских мыслителей – Вл. Соловьева, В. Розанова, П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова, А. Карташова, С. Франка, Н. Лосского, Л. Карсавина, П. Сорокина, В. Успенского и многих других – в России создалась совершенно особая атмосфера, позволяющая личности при внешнем деспотическом, царистском режиме обретать безусловную внутреннюю свободу. Преграды если и ставились, то только в форме механической цензуры, или, говоря словами А. Блока, «на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир». Лишь позднее более изощренное государство догадалось, как, впрочем, и предвидел Блок в своей речи «О назначении поэта» (1921), изыскать средство для «замутнения самих источников гармонии». Но до этого было еще далеко...

В атмосфере религиозно-философского ренессанса Начала нашего века Мережковский и создавал главные свои произведения.

К слову сказать, сам он не обладал даром первооткрывателя-любомудра, способностью оригинального мыслителя (как, скажем, близкий ему В. В. Розанов): он принимал или контаминировал уже сложившиеся концепции. Его устремления были направлены на то, чтобы наново рассмотреть основы христианской догматики.

И в этом движении, которое можно определить как попытку соединить русскую культуру с православной или даже шире – Вселенской церковью, – огромную роль сыграла жена и единомышленник – Зинаида Николаевна Гиппиус.

Мережковские прожили в браке пятьдесят два года, «не разлучаясь,-по словам Гиппиус,-со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день». Однако «идеальный» союз этот со стороны казался необычным, даже странным.

Традиционное, от века определение семьи как малого общества людей, произошедшего от одной четы, к ним не применимо: чета была бездетна и могла порождать только книги. (Как и Мережковский, Гиппиус оставила обширное литературное наследие: прежде всего поэтическое, а кроме того – романы, рассказы, пьесы, несколько критических сборников, два тома воспоминаний «Живые лица» и т. д.) Куда ближе, кажется, здесь понятие «семейство», взятое из естествознания, только с поправкой на систематику иного, внутреннего, мировоззренческого родства. Вскоре к этому семейству присоединяется критик и публицист Д. В. Философов, двоюродный брат известного художественного деятеля С. И. Дягилева. «Триумвират» просуществовал долгих пятнадцать лет и носил характер некоей религиозно-философской ячейки или даже секты: жили «коммуной», сообща намечались генерализующие идеи и писались некоторые книги. Как вспоминал много позднее Н. А. Бердяев: «Мережковские всегда имели тенденцию к образованию своей маленькой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на кого они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и критиковал их идеи в литературе. У них было сектантское властолюбие» Вероятно, этим и объясняется недолговечность и непрочность тех союзнических отношений, которые возникают (и распадаются) у Мережковских – как с печатными органами, так и с отдельными лицами: «Северным Вестником» (где был опубликован не принятый другими журналами первый исторический роман Мережковского «Отверженный» – раннее название «Юлиана Отступника») и его редактором Акимом Волынским; так называемым «дягилевским кружком» (художники В. А. Серов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, поэт Н. Минский) и его трибуной «Мир Искусства» (руководителем литературного отдела которого был Д. В. Философов, напечатавший длинное исследование Мережковского «Толстой и Достоевский»); журналом «Новый Путь» (здесь появился роман «Петр и Алексей») и редактором П. П. Перцовым и т. д. Особо следует сказать о сближениях и расхождении или даже разрыве с такими деятелями философии и литературы, как В. В. Розанов, Н. А. Бердяев,

Андрей Белый, наконец, А. А. Блок (посвятивший, кстати, Гиппиус свое знаменитое – «Рожденные в года глухие...»).

Мережковские предпочитают в итоге, используя выражение Бердяева, «свою маленькую церковь», стремясь совместить ее с церковью «большой». В 1901 году они добиваются разрешения у Синода учредить в Петербурге «Религиозно-философские собрания» (вместе с Розановым и Философовым). В собраниях этих участвуют видные богословы, философы, представители духовенства – В. Тернавцев, А. Карташов, В. Успенский, епископ Сергей (Ставший через много лет, в 1943 году, патриархом Московским и всея Руси) и др.

Собрания из-за резкости и остроты выступлений просуществовали недолго: уже с апреля 1903 года их запретила синодальная власть. «Не могу сказать, – вспоминает Гиппиус, – наверное, к этому времени или более позднему относится свидание Дмитрия Сергеевича со всемогущим обер-прокурором Синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: „Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек“. Кажется, Дмитрий Сергеевич возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России...»

Идеи «религиозной общественности», своего рода варианта христианского социализма, к которым склонялся «триумvirат» Мережковский – Гиппиус – Философов, понятно, никак не укладывались в рамки официального православия. Еще меньше понимания могла найти мысль, которая (вслед за В. Соловьевым) овладевает Мережковским, – соединить православие с католичеством, восточный образ «богочеловека» и западный «человекобога». После поражения первой русской революции, «ввиду создавшегося атмосферного удушья» (как пишет Гиппиус), «триумvirат» выезжает в 1906 году в Париж, где оседает (с периодическими наездами в Россию) до 1914 года.

В Париже Мережковские увлеченно интересуются католичеством и модернизмом, а также сближаются с деятелями партии эсеров, умеренными и радикальными (знаменитый Борис Савинков даже ищет у них религиозного оправдания политического террора и получает интенсивные литературные консультации в работе над романом «Конь Бледный»). Там же складывается коллективный сборник «Le Tsar et Revolution» («Царь и революция», 1907), где Мережковскому принадлежит очерк «Революция и религия». Рассматривая русскую монархию и церковь на широком историческом фоне, он приходит к выводу: "В настоящее время едва ли возможно представить себе, какую всепокрушающую силу приобретет в глубинах народной стихии революционный смерч.

В последнем крушении русской церкви с русским царством не ждет ли гибель России, если не вечную душу народа, то смертное тело его – государство". Исключение делается только для «избранных» – «всех мучеников революционного и религиозного движения в России». В слиянии этих двух начал и видится Мережковскому то отдаленное, чаемое будущее, совпадающее с евангельским заветом: «Да придет царствие Твое». При всей отвлеченности, книжности таких пророчеств в них ныне прочитывается и некая им предугадываемая правда, тогда еще слабо воспринимаемая интеллигенцией. В своих для того времени странных прорицаниях Мережковский (вместе с А. Блоком или В. Розановым) обращается поверх современников в трагическое «завтра»,..

Однако в силу своей сугубой отвлеченности подобные пророчества отклика в обществе не находили. И к той поре сам Мережковский, его фигура в отечественной литературе выглядела одинокой и почти оторванной, отрезанной от бурлящей России и ее «горячих» запросов. То, чем он «пугал» современников, для большинства казалось чистой схоластикой. И с некоторой долей условности можно сказать, что добровольная эмиграция для Мережковского началась задолго до событий 1917 года. Отчасти объяснение этому, кажется, мы находим в нем самом – писателе и человеке.

«Почему все не любят Мережковского?» – таким вопросом задавался А. Блок.

В самом деле, литераторы полярных направлений и групп – от М. Горького, с которым Мережковские в 1900-е годы вели яростную полемику, до близкого их исканиям В. Розанова; от «чистого» журнального критика Корнея Чуковского и до философа Н. Бердяева – оставили немало самых резких о нем отзывов и характеристик. Даже обзорная статья А. Долинина в «Русской литературе XX века» (1915), которая должна была предполагать академическую объективность, местами более похожа на памфлет.

Он как будто никого не устраивает.

Особое положение Мережковского отчасти объясняется глубоким личным одиночеством, которое он сам превосходно сознавал, пронеся его с детских лет и до кончины.

Гиппиус вспоминала: «Я сказала раньше, что у него никогда не было „друга“, – как это слово понимается вообще. Отчасти (я стараюсь быть точной) это шло от него самого. Он был не то что „скрытен“, но как-то естественно закрыт в себе, и даже для меня то, что лежало у него на большой глубине, приоткрывалось лишь в редкие моменты» И то, что подспудно мучило Мережковского, исповедально объяснено им как «бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жадной свободой и простоты», как «окаменение сердца» – следствие «болезни культуры, проклятия людей, слишком далеко отошедших от природы». Слово сказано. Кажется, только отражение – от книги или созерцания памятника великой культуры прошлого – зажигается в этом человеке живое и сильное чувство.

Не будет преувеличением назвать Мережковского первым у нас на Руси кабинетным писателем-«европейцем».

Впрочем, именно так отзывался о нем пронизательнейший Розанов (даже видя Мережковского гуляющим, он всякий раз, по собственному признанию, думал: вот идет «европеец»); о том же писали А. Блок и Н. Бердяев. Певец культуры и ее пленник, он походил на сложившийся уже в Европе тип художника-эссеиста, который явили нам Анатолий Франс (с ним Мережковский познакомился в Париже), Андре Жид, Стефан Цвейг. Полиглот, знаток античности и итальянского Возрождения, историк культуры, Мережковский особенно плодотворно выразил себя именно в жанре эссе, свободного очерка, сочетавшего элементы философии, художественной критики и ученой публицистики. Это некий перенасыщенный культурный раствор, из которого выпадают кристаллы великолепных образов, рожденных, однако, вторичным знанием, а не цельным инстинктом жизни.

Напряженное внимание к нравственно-религиозной проблематике, каким отмечено все творчество Мережковского, было лишь одним из проявлений той глубокой духовной жизни, что была свойственна русской интеллигенции начала века. Одни и те же Тайны бытия волновали Мережковского и его современников-опионитов, например, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева или предшествовавшего им В. С. Соловьева. В цикле историко-религиозных работ «Большая Россия» («Зимние радуги», «Иваныч и Глеб»,

«Аракчеев и Фотий», «Елизавета Алексеевна» и др.), а также в примыкающих к ним очерках «Революция и религия» и «Последний святой» он делает попытку осознать, возможно ли совмещение «Божеского» и «человеческого».

Мережковскому одинаково важны и дороги правда небесная и правда земная, дух и плоть, ареной борьбы которых становится человеческая душа. Вместе с В. В. Розановым он не приемлет многого в официальной церкви и мог бы повторить розановские слова о православии, унаследовавшем старческие заветы падающей Византии: «Дитя-Россия приняла вид сморщенного старичка... и совершила все усилия, гигантские, героические, до мученичества и самораспятый, чтобы отроческое существо свое вдавить в формы старообразной мумии, завещавшей ей свои вздохи... Вся религия русская – по ту сторону гроба».

Вот почему так важен для Мережковского «последний святой» – Серафим Саровский, который предстает под его пером не просто как заживо замуравивший себя в аскезу схимник,

но несущий свою святость «в народ», являющий пример живого благочестия. Современник Павла и Александра I, Серафим Саровский (1760-1833) был, можно сказать, подвижником милосердия – как бы по контрасту с суровым, циничным и зачастую бесчеловечным временем.

Так выявляется внутренняя связь духовно-религиозной публицистики Мережковского и его романов о русской истории, в которых столь важное место занимают поиски идеала, будь то богатая духовная жизнь князя Валерьяна Голицына и других декабристов, или искания раскольников, сектантов, выдвигающих из крестьянских низов религиозных проповедников вроде Кондратия Селиванова, основавшего знаменитый хлыстовский «корабль» (с которым мы встречаемся на страницах романа «Александр I»).

Мережковский, как правило, идет от метафизической схемы:

Христос и Антихрист (первая историческая трилогия). Богочеловек и Человекобог, Дух и Плоть (так, в исследовании о Толстом и Достоевском первый выступает в качестве «ясновидца плоти», воплощения ветхозаветной, земной правды, в то время как второй – Это «ясновидец духа», воплощение правды Христовой, небесной), христианство и язычество (статья о Пушкине), «власть неба» и «власть земли» (статья «Иваныч и Глеб») и т. д. В таком духе строятся многочисленные литературно-критические работы, где самое ценное все-таки не в отвлеченных схемах, а в конкретных наблюдениях, в характеристике художественной индивидуальности, в свободе эстетического анализа, даже если он осложнен тяжелой авторской тенденцией.

Трудно даже перечислить всех, о ком написал Мережковский критик; легче, кажется, сказать, о ком он не писал. Во всяком случае, один цикл «Вечные спутники» (1897) включает портреты Лонга, автора «Дафниса и Хлои», Марка Аврелия, Плиния Младшего, Кальдерона, Гете, Сервантеса, Флобера, Монтеня, Ибсена, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Майкова, Пушкина. Критическое же наследие Мережковского составляет сотни статей и работ (в том числе и книгу о Гоголе), в которых перед нами предстает едва ли не вся панорама литературной жизни и борьбы. От рецензий 1890-х годов на произведения Чехова и Короленко и до предреволюционных статей о Белинском, Чаадаеве, Некрасове, Тютчеве, Горьком – таков неправдоподобно широкий диапазон его как критика.

При этом многие злободневные статьи Мережковского (как и выступления З. Гиппиус, избравшей себе недаром псевдоним Антон Крайний) отмечены еще и ультимативностью тона, непререкаемо-пророческим пафосом, воистину «крайностью» оценок и суждений. Упомяну хотя бы такие его программные работы, как «Грядущий Хам», «Чехов и Горький», «В обезьяньих лапах (О Леониде Андрееве)», «Асфоделии и ромашка». Правду Сказать, и в них есть немало такого, что прочитывается сегодня новым, свежим взглядом, дает пищу уму и мыслям, даже в отгалкивании, несогласии с автором. И сквозь весь этот пестрый и как будто бы клочковатый материал проступают знакомые нам общие постулаты, занимавшие всю жизнь воображение Мережковского. Недаром он сказал в предисловии к собранию своих сочинений, что это «не ряд книг, а одна, издаваемая для удобства только в нескольких частях. Одна об одном».

Это относится, понятно, и к его историческим романам.

Всероссийскую, шире – европейскую известность принесла Мережковскому уже первая трилогия «Христос и Антихрист»:

**«Смерть Богов (Юлиан Отступник)», 1896; «Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)», 1902; «Антихрист (Петр и Алексей)», 1905.**

Точнее сказать, известность эта пришла после публикации первого романа, «Отверженный» (раннее название «Юлиана Отступника»), едва ли не сильнейшего в трилогии. Великолепное знание истории, ее красочных реалий и подробностей, драматизм характеров, острота конфликта – столкновение молодого, поднимающегося из социальных низов христианства с пышной, ослабевшей, но еще пленяющей разум и чувство античностью позволило Мережковскому создать повествование незаурядной художественной силы. Трагична фигура императора Юлиана (правил с 361 по 363 г.), который до воцарения тайно исповедовал языческое много-

божие, а затем решился повернуть историю вспять, дерзнул возвратить обреченную велением времени великую, но умирающую культуру. Сам Мережковский, кажется, сочувствует своему герою, противопоставляя аскетической, умерщвляющей плоть религии «галилеян» (христиан), устремленной к высоким, но отвлеченным истинам добра и абсолютной правды, светлое эллинское мирозерцание, с его проповедью гедонизма, торжеством земных радостей, волшебной прекрасной философией, искусством, поэзией.

Порою христианство предстает в романе не утверждением высших принципов духовности, а всего лишь победой злой воли слепой и темной в своем опьянении вседозволенностью толпы, низкие инстинкты которой разожжены свирепыми призывами князей церкви: "Святые императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну.

Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей". Но вера в Спасителя – это религия социальных низов, религия бедных. И в восприятии народном Юлиан предстает не просто Отступником, но Антихристом, Анти-Христом, Дьяволом. Сам Ощущая свою обреченность, раздираемый противоречиями, он погибает со ставшей знаменитой фразой на устах: «ТЫ победил. Галилеянин!..» В следующем романе – «Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)» Мережковский широкими мазками рисует эпоху Возрождения в противоречиях между монашески суровым Средневековьем и новым, гуманистическим мировоззрением, которое вместе с возвращением античных ценностей принесли великие художники и мыслители этой поры. Однако здесь уже проступает некая нарочитость, заданность: вместе с возрождением античного искусства якобы воскресли и боги древности. И все же в романе главным является не отвлеченная концепция, а сам великий герой, гениальный художник и мыслитель. Леонардо, его «страшный лик» и «змеиная мудрость» с особой силой влекли к себе Мережковского – как символ Богочеловека и Богоборца:

Пророк, иль демон, иль Кудесник,  
Загадку вечную храня,  
О, Леонардо, ты – предвестник  
Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети  
Больных и сумрачных веков,  
Во мраке будущих столетий  
Он непонятен и суров,

Ко всем земным страстям бесстрастный,  
Таким останется навек -  
Богов презревший, самовластный,  
Богopodobный человек.

*Д. Мережковский. «Леонардо да Винчи»*

Работая над первой трилогией, Мережковский ощущал, что идеалы христианства и ценности гуманизма, понятие Царства Небесного и смысл царства земного для Него несовместимы, метафизически разорваны. Позднее он объяснит свои искания: «Когда я начинал трилогию „Христос и Антихрист“, мне казалось, что существуют две правды; христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе

Иисусе. Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению – таков мой путь, – и спутник-читатель, если он мне равен в главном – в свободе исканий, – придет к той же истине».

Все же следы этой раздвоенности не покинут Мережковского до самых последних его работ.

Помимо трилогии «Христос и Антихрист» и трилогии из русской жизни «Павел 1», «Александр 1» и «14 декабря», ему принадлежит еще целый ряд произведений, написанных уже в эмиграции. Жанр их не всегда определим, так как форма традиционного романа смыкается с беллетризованной документальной биографией или даже историко-философским трактатом. В этих позднейших книгах – «Рождение Богов (Тутанкамон на Крите)» (1925); «Мессия» (1927); «Тайна Запада. Атлантида-Европа» (1930); «Иисус Неизвестный» (1932); двухтомное исследование «Данте» (1939), книга об испанской святой «Маленькая Тереза», очерки «Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль» и т. д. – элементы книжности, музейной архаики нарастают. Как писал о «Рождении Богов» и «Мессии» советский критик Д. Горбов, «это огромные саркофаги, воздвигнутые бесстрашной рукой историка-гробокопателя», холодные тронные залы все той же идеи господства мира мертвых над миром живых».

Было бы неверно, однако, целиком принять эту жестокую, звучащую как приговор формулу Д. Горбова. Мережковский не был только книжным затворником. Так, занимаясь эпохой Петра 1, он совершил далекие поездки по России, изучая «живьем» раскол, в котором ему виделся свет религиозной истины, утраченной официальной церковью. Но и тут проявлялся его «европеизм», кабинетность таланта. "Он был очень далек от типа русского писателя, очень часто встречающегося... – замечала З. Гиппиус. Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью, я бы сказала, ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна.

Начиная с «Леонардо» – он стремился, кроме книжного собирания источников, еще непременно быть там, где происходило действие, видеть и ощущать тот воздух и ту природу. Не всегда это удавалось: его мечта побывать в Галилее, перед работой об «Иисусе Неизвестном», и в Испании, когда он писал (это уже в последние годы жизни) «Терезу Авильскую» и «Иоанна Креста» – не осуществилась; но наше путешествие «по следам Франциска 1» (которого сопровождал Леонардо), начавшееся с деревушки Винчи, где родился Леонардо, и до Амбуаза, где он умер, – было первым такого рода; вторым – в глубину России, к раскольникам-старообрядцам, ко «Граду Китежу», – когда Дмитрий Сергеевич собирался писать Петра 1; третьим – почти двухлетнее следование за Данте, по другим городам и местам Италии (уже перед последней войной) перед его большим трудом о Данте. Повторяю, более всестороннего и тщательного исследования темы, будь то роман или не роман, – трудно было у кого-нибудь встретить "...". В работе о Египте ему помогла Германия, где ему, из специальной библиотеки, привозили на тачках (буквально) громадные фолианты, в которых он нуждался».

Однако документ, как и географические и исторические реалии, в итоге как бы сковывал фантазию Мережковского-художника. Писатель использовал его не как отправную точку для показа путешествия души героев, для создания новых, неизвестных ранее в литературе характеров. Он оставался, можно сказать,

«внутри» документа, преобразуя его то в выдуманный дневник одного из персонажей романа, то в форму острого диалога или "Издтретянего потока сознания, который превращался таким образом в поток цитат.

Это было именно тщательное «исследование темы». Для художника, открывающего нам тайны человека, создающего типы времени, оно лишь пролог к собственно творчеству (так документальные изыскания Пушкина явили нам «Историю пугачевского бунта», а роман «Капитанская дочка» волшебным образом преобразил документ в высокое искусство); у Мережковского творчество укладывалось в рамки сбора, систематизации и осмысления материала. Как под-

считал один из критиков, из тысячи страниц его романа о Леонардо да Винчи не менее половины приходится на подробные выписки, материалы и дневники. Отсюда заметная иллюстративность исторических романов Мережковского, герои которых – воистину рупоры идей автора.

Впрочем, в этих ограниченных пределах он остается художником, стремящимся прежде всего к внешним эффектам, ярким и драматическим зарисовкам, идя от фактов и реалий (наподобие многофигурных и явно театральных полотен академика живописи Г.И. Семирадского; так и хочется сопоставить его пышное полотно «Светочи Нерона» с романом «Юлиан Отступник»). Мережковский недаром выбирает для своих романов особенные – смутные, колеблемые раздвоением, вызревающими конфликтами времена. Такова, к примеру, эпоха Юлиана Отступника (христианство уже победило, но язычество еще не изжито; в христианстве укрывается языческий разврат), или Леонардо да Винчи (возрождается язычество, эллинизм, а христианство в лице католицизма вырождается, причем в самых уродливых формах), или Петра I, или религиозной смуты на Крите и в Египте. Кризис гуманизма, кризис веры в конечное торжество добра (приведшие в итоге к появлению символизма) наложили мощный отпечаток на творчество Мережковского. В ряде его романов мы найдем полное смещение нравственных норм, тягу к откровенной эротике, тщательное живописание насилия и жестокости. С Мережковским, по утверждению Н. Бердяева, «исчезает из русской литературы ее необыкновенное правдолюбие и моральный пафос».

Об этом, можно сказать, нищенски-демонстративном нежелании считаться с заповедями традиционной, христианской морали размышлял философ и критик И. А. Ильин, подробно, пристрастно и очень последовательно проанализировавший романы Мережковского:

"Ложное истинно. А истинное ложно. Это – диалектика?"

Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот искренно верующая христианка – от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря – он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятое – тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик – с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца, или не стыдись. От руки найденного идола – совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое – «из почтения к Богородице». Человек имеет две ладанки – с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывает к Распятию, а ВНУТРИ у него ВенЕра.

Чистейшая кровь Диониса – Галилеянина. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие корозы и отдают в таком виде быку – это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва – на колдовское заклинание. Христос – МЕЧТА. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение".

"Искусство это? – задается в итоге вопросом Ильин. – Но тогда это искусство, попирающее все законы художественного.

Религия это? Нет – это скорее безверие и безбожие".

Характерно, однако, что во всех этих рассуждениях речь идет о романах (кроме одного – «Петр и Алексей»), написанных на иноземном историческом материале – Рим, Италия, Крит, Египет. И. А. Ильин совершенно не касается двух крупных произведений Мережковского – «Александр I» и «14 декабря» (равно как и пьесы «Павел I»). Скорее всего, по той простой причине, что здесь его критическое жало не нашло бы жертвы.

Трилогия «Павел 1» – «Александр 1» – «14 декабря» свободна от метафизической догматики, и от красочной эротики, и от смакования жестокостей. Я бы сказал даже, что тут (например, в романе «Александр 1») ощущаешь ту связь с гуманистической традицией русской литературы XIX века, которая оказалась в других произведениях Мережковского утраченной.

Вторая трилогия – только о России Конечно, Мережковский и в ней остается верен себе. Он вновь выбирает «смутное время»: конец царствования Павла, заговор и убийство императора; закат правления Александра 1, брожение и недовольство в обществе, нравственно-религиозные искания, движение дворянских революционеров, их неудача 14 декабря 1825 года. Пробел во времени между событиями, о которых говорится в пьесе и романах, огромен – без малого четверть века.

Выпадают и славные страницы Отечественной войны 1812 года; однако героический период русской истории Мережковского, видимо, не интересует. В пьесе ему, помимо главной цели – осуждения самодержавия на примере дикого самодурства и деспотизма Павла, – важно еще показать начало опустошающей душу трагедии Александра Павловича, ставшего невольным соучастником дворцового переворота. Отцеубийство. Этот мотив найдет затем развернутое продолжение в романе, в показе раздвоенного, проявляющего себя то в приливах лицемерия, то в приступах больной совести характера Александра 1.

Уже отмечалось, сколь важны были всегда для Мережковского-романиста источники; о них следует сказать особо. В пору написания трилогии он имел возможность опираться на капитальные труды, созданные отечественными историками.

Здесь раньше всего нужно назвать серию монографий Н. К. Шильдера, посвященных русским монархам: огромное исследование в четырех томах «Император Александр 1, его жизнь и царствование» (1897-1898), работы «Император Павел 1» (1901) и «Император Николай 1» (опубликована в 1903 году). В последнем, незавершенном двухтомном труде (автор покончил с собой в 1902 году, повторив таким образом поступок своего коронованного героя) Шильдер с особенным историческим беспристрастием, необычным для историка его положения, говорит о многих сторонах царствования Николая, в том числе и о характере официального следствия по делу декабристов.

Ослабление цензуры после первой русской революции вызвало появление многочисленных работ, посвященных «темным пятнам» русской истории (например, в серии «Русская быль» – «Смерть Павла Первого» немецких ученых Шимана и Брекнара,

«Разруха 1825 года. Восшествие на престол императора Николая 1» Г. Василича, его же компилятивный труд «Император Александр 1 и старец Федор Кузьмич» и т. д.). Достоянием читателя становится целая библиотека, посвященная декабристам: издаются сборники документов, воспоминания, исследования. Среди прочих назову сборник донесений, приказов и правительственных сообщений под редакцией богучарского «Государственные преступления в России» (заграничное издание 1903-го и петербургское – 1906 года), мемуары Н. Тургенева, братьев Бестужевых, Трубецкого (1907), составленный Семевским, Богучарским и Щеголевым сборник «Общественное движение в России в первую половину XIX века» (1905), работы Довнар-Запольского «Мемуары декабристов» (1906), «Тайное общество декабристов» (1906) и «Идеалы декабристов» (1907), «Галерею шлиссельбургских узников» под редакцией Анненского, Богучарского, Семевского и Якубовича (1907), «Декабристы» Котляревского (1907), «Политические и общественные идеалы декабристов» Семевского (1909) и мн. др.

Особо важным подспорьем для Мережковского оказались исследования замечательного русского историка Великого Князя Николая Михайловича «Император Александр 1» (1912) и трехтомная работа «Императрица Елизавета Алексеевна» (1908-1909).

Ведь для автора (внука Николая 1) были открыты все запретные для других дворцовые архивы. Николай Михайлович опубликовал широкий, недоступный ранее материал (например,

пространную интимную переписку жены Александра I Елизаветы Алексеовны со своей матерью, маркиграфиней Ваденской Амалией), которым воспользовался Мережковский.

Но события времен Павла и Александра I не были для писателя седой стариной. О них помнили не только книги, но и люди.

Именно в царствование Павла, как уже говорилось, дед Мережковского начал свою службу в гвардейском Измайловском полку, а затем участвовал в войне 1812 года; судя по всему, он был и свидетелем декабрьского восстания в Петербурге 1825 года. Иными словами, благодаря семейным преданиям Мережковский мог получить многое, так сказать, из первых рук. Не потому ли, несмотря на традиционное обилие скрытых и явных цитат, вторая трилогия выглядит все же не энциклопедией чужой мудрости, а серией живых картин русской жизни.

Особый характер придает ей резкая антимонархистская, антицаристская направленность.

И здесь, верный себе, Мережковский находит теологическое обоснование своих взглядов. В результате долгих размышлений, поисков (в которых участвует весь «триумvirат») он находит категорическую формулу: «Да – самодержавие от Антихриста».

Уже в ходе работы над романом «Петр и Алексей» симпатии автора все более склоняются к «непонятому» Алексею, «жертве», олицетворению «патриархальной России», -а также к гонимым раскольникам, несущим, по его мнению, народную правду. Пушкинскую фразу о Петре I; «Россию поднял на дыбы» Мережковский переинтерпретирует «на дыбу»; бессильная угроза несчастного Евгения Медному Всаднику «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!» оборачивается зловещим предсказанием: «Петербургу быть пусту!» Надо сказать, что резко отрицательное отношение к абсолютистскому государству, самодержавно-бюрократическому строю было характерно для русского символизма в целом. Так, очень близок своим антимонархическим пафосом прозе Мережковского роман Андрея Белого «Петербург» (1913-1916), который был отвергнут редактором журнала «Русская мысль» П. Струве из-за «антигосударственной тенденции», которая здесь «очсати зла и даже скептически». Но, пожалуй, наибольшего накала обличение монархии достигает в пьесе Мережковского «Павел I».

В фундаментальных трудах отечественных историков правление Павла уже получило к тому времени недвусмысленную оценку. Самодержавие, с его бесконтрольностью и абсолютной полнотой власти, раскрылось во всей вопиющей несправедливости, когда на троне оказался человек с явно расстроенной психикой, навязчивой подозрительностью, у которого самые благие порывы приводили к печальным последствиям и который оставил память о себе как о жестоком маньяке. Характеризуя царствование Павла, Н. К. Шильдер писал: "...новая эра является перед нами в виде сплошного, тяжелого кошмара, напоминающего порою, по выражению современника, «зады Грозного». Современником этим был не кто иной, как Н. М. Карамзин, автор «Записки о древней и новой России» (поданной Александру I через великую княгиню Екатерину Павловну), где он дал уничтожающую характеристику Павлу и его царствованию. И хотя делались (и делаются поныне) попытки переосмыслить эту оценку, думаю, можно считать ее окончательной.

В своей пьесе Мережковский даже сгущает мрак павловского царствования, вынося за скобки и то небольшое доброе, что было в императоре. Под его пером Павел – это злая кукла, автомат, наделенный неограниченной властью и гибнущий в результате развязанной им фантазмагии. Отсюда, от пьесы Мережковского, идет целая традиция в нашей литературе, например, трактовка Павла I и русской монархии у Ю. Тынянова («Подпоручик Киже»). Влияние Мережковского порой проявлялось в буквальном следовании за ним других авторов (так, исторический роман 1936 года А. Шишко «Беспокойный век» оказался построен на прямых заимствованиях из пьесы).

В один из наездов Мережковских в Петербург, 14 декабря 1908 года, на вечере, устроенном в пользу писателя А. М. Ремизова, были впервые разыграны два действия драмы «Павел I»

в костюмах того времени. По случайному совпадению премьера состоялась в день 83-й годовщины восстания на Сенатской площади. К тому времени Мережковский уже работал над романом «Александр 1» и думал о следующем, который по замыслу должен был носить заглавие «Николай 1».

В центре остросюжетной пьесы – сам император, вокруг которого сжимается кольцо заговора; роман «Александр 1» представляет собой совершенно иное, многоплановое произведение.

Здесь центр тяжести рассредоточен на нескольких центральных персонажах: сам император; «вольнодумец» и декабрист князь Валерьян Голицын; его любимая, угасающая от чахотки незаконная дочь Александра Софья Нарышкина; несчастная супруга царя елизавета Алексеевна. Все они действуют на широком историческом фоне – петербургский свет, участники дворянского заговора, тайная жизнь масонских лож и религиозных сект (вроде «корабля» Татариновой, который посещает Валерьян Голицын), борьба У трона временщиков – Аракчеева и митрополита Фотия с «конкурентом», Голицыным другим, обер-прокурором Святейшего Синода, и т. д.

Разумеется, фигуре самого Александра 1 в романе отдано некоторое предпочтение. Можно сказать, что здесь Мережковский идет за Пушкиным:

Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый щеголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой,  
Над нами царствовал тогда.  
Россия присмирела снова,  
И пуще царь пошел кутить,  
Но искра пламени иного  
Уже издавна, может быть,

Расшифрованные потомками строфы из десятой главы «Евгения Онегина», можно сказать, являются ключом к целому периоду нашей истории и к характеру самого Александра. Мережковский реставрирует этот характер, отказываясь от романтических соблазнов вроде версии об уходе императора «в скит» замаливать свои грехи (которая увлекла, помимо множества рядовых перьев, «самого» Льва Толстого). В предпоследней главе из Таганрога, где скончался государь, идет по почтовому тракту похожий на него отставной солдат Федор Кузьмич.

Несмотря на многочисленные «странные» высказывания Александра на протяжении всей его жизни (отречься от престола и уехать в Америку или, во время кампании 1812 года, отрастить себе бороду и питаться картофелем где-то за Уралом, но не соглашаться на переговоры с Наполеоном), писатель оставался в твердом убеждении, что его герой не способен на нравственное подвижничество. Но давняя трещина прошла, раздвоив характер императора. В минуты раскаяния он считал себя отцеубийцей.

И здесь Мережковский шел от свидетельства историков:

«Наследник престола знал все подробности заговора, ничего не сделал, чтобы предотвратить его, а, напротив того, дал свое обдуманное согласие на действия злоумышленников, как бы закрывая глаза на несомненную вероятность плачевного исхода, т. е. насильственную смерть отца».

Вообще говоря, смутный внутренний мир Александра очень близок Мережковскому-художнику: метания между вольнолюбивыми идеями воспитавшего его Лагарпа и желание видеть Россию единой казармой наподобие огромного аракчеевского поселения; мучения отца, потерявшего одну за другой трех дочерей (двух малолетних, от Елизаветы Алексеевны, и взрослую – Софью, от Марии Антоновны Нарышкиной), и лицемерие, фальшь, каменное

бесчувствие при виде страдающего под крепостным гнетом народа. Так угадывается в романе излюбленная Мережковским антиномия, которая тут принимает два полярных начала: «небесное» и «земное».

«Небесное» начало редко посещает государя; оно удел двух женских образов – дочери Софьи и жены Елизаветы Алексеевны.

Нисходит оно, впрочем, и на декабристов, даже посреди подготовки кровавого переворота, когда внезапно в них прочитывается нечто чистое, «детское». Показательно, однако, что здесь в главные герои романа Мережковский вербует не «железного» Пестеля или напоминающего позднейших террористов-народовольцев исступленного Каховского. Его внимание привлекает сомневающийся, рефлектирующий князь Валерьян Голицын.

Он принадлежал к умеренному крылу Северного общества и мог многим импонировать Мережковскому. Учился в иезуитском коллеже, дружил с Чаадаевым, рассуждал о католицизме и православии и «заимствовал свободный образ мыслей от чтения жарких прений в парламентах тех народов, кои имеют конституцию» (показания на следствии). Присужденный к ссылке в Сибирь, Голицын через одиннадцать лет был переведен рядовым на Кавказ, в 1838 году поступил на гражданскую службу в Ставрополе и умер в 1859 году. В ряде его черт (вплоть до сильного, но платонически-отвлеченного чувства к Софье) угадывается нечто от личности самого Мережковского.

С неожиданной для этого писателя поэтичностью и глубоким лиризмом обрисованы в романе его героини.

Характер хрупкой, словно случайно залетевшей на грешную землю и быстро покинувшей ее Софьи целиком домыслен писателем. Облик Елизаветы Алексеевны воссоздан по документам. Правда, как свидетельствует Николай Михайлович, дневник Елизаветы Алексеевны, «который она вела за все время своего пребывания в России до кончины в Белове (в 1826 году. – Он был сожжен императором Николаем I». Иными словами, ее ежедневные записи, приводимые в романе (равно как и дневник Голицына), выдуманы Мережковским. Но документальный материал тут велик (только писем к матери было 1145). Он дает полное основание утверждать, что Елизавета Алексеевна, помимо того, что она была больной совестью Александра и несчастной матерью, обладало еще неподдельным вольнолюбием, возвышенными духовными чертами.

«Я проповедывала революции, как безумная, я хотела одного – видеть несчастную Россию счастливою, какою бы то ни было ценою», – приводит Мережковский выдержку из ее письма матери в отзыве на первый том книги Великого Князя Николая Михайловича «Императрица Елизавета Алексеевна» и размышляет далее: «Николай I хорошо знал, что делает, когда, после кончины Елизаветы, собственноручно сжег ее многолетний дневник. Что думал и чувствовал он в то время, как тлели на огне эти обличительные страницы, вырванные из русской истории? Если бы в руки его попались и эти письма, – не предал ли бы он их огню вместе с дневником?».

Если Елизавета Алексеевна – больная совесть Александра, то, по замыслу Мережковского, Софья – больная совесть декабриста Голицына. Полны глубокого смысла слова, сказанные ею князю Валерьяну Михайловичу накануне своей кончины: «Живых убивать можно, но как же мертвого?» О них Голицын вспоминает, когда, собираясь с Пестелем в Таганрог, где задумано покушение на Александра, они узнают о его смерти. Об этих словах вправе вспомнить и мы, применительно к истории новой. Ибо от века горазды мы льстить живым и убивать мертвых.

Слова эти бросают новый свет и на завершающий трилогию роман «14 декабря», который создавался Мережковским посреди великой революции, охватившей Россию.

Октябрь, Советскую власть Мережковские не приняли; «триумvirат» выезжает, а точнее – бежит от большевиков в Варшаву, где Философов остается. Мережковский и Гиппиус обосновываются в Париже.

Несмотря на свою европейскую известность (вместе с Буниным и Шмелевым он был кандидатом на Нобелевскую премию), несмотря на активное участие в литературной жизни (популярными стали учрежденные им и Гиппиус заседания «Зеленая лампа»), наконец, несмотря на свою исключительную плодовитость и в эмиграции, Мережковский постепенно становится фигурой архаичной, почти выморочной. Бунин записывает в дневник 7/20 января 1922 года: "Вечер Мережковского и Гиппиус у Цетлиной.

Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты – плоско и элементарно до нельзя" ".

В политической ненависти к коммунизму Мережковский последовательно ставил на всех диктаторов: Пилсудского, Муссолини, Гитлера. Когда фашистская Германия напала на нашу страну, он, 76-летний старик, выступил по радио, где сравнил Гитлера... с Жанной д'Арк! Большинство эмигрантов отвернулись от него. Между тем этот последний, роковой шаг был сделан Мережковским, как он сам обмолвился как-то, только «из подлости».

"Положа руку ва сердце, – пишет встречавшаяся с ним в то время Ирина Одоевцева, – утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему "...". Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь сам он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним, – Мережковский не разглядел, проглядел его".

Однако клеймо «коллаборациониста» так и не было смыто.

И когда полгода спустя после своей радиопередачи Мережковский скончался (9 декабря 1941 года), проводить его в последний путь в православной церкви на улице Дарю, в Париже, собралось всего несколько человек.

Олег Михайлов

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В двадцати стадиях от Цезарей Каппадокийской, на лесистых отрогах Аргейской горы, при большой римской дороге, был источник теплой целебной воды. Каменная плита с грубо высеченными человеческими изваяниями и греческой надписью свидетельствовала, что некогда родник посвящен был братьям Диоскурам – Кастору и Поллуксу.

Изображения языческих богов, оставшись неприкосновенными, считались изображениями христианских святых, Космы и Дамиана.

На другой стороне дороги, против св. Источника, была построена небольшая таверна, крытая соломой лачуга, с грязным скотным двором и навесом для кур и гусей.

В кабачке можно было получить козий сыр, полубелый хлеб, мед, оливковое масло и довольно терпкое честное вино. Таверну содержал лукавый армянин – Сиракс.

Перегородка разделяла ее на две части: одна-для простого народа, другая-для более почетных гостей. Под потолком, почерневшим от едкого дыма, висели копченые окорока и пучки душистых горных трав: жена Сиракса, Фортуната, была добрая хозяйка.

Дом считался подозрительным. Ночью добрые люди в нем не останавливались; ходили слухи о темных делах, совершенных в этой лачуге. Но Сиракс был пронырлив, умел дать взятку, где нужно, и выходил сух из воды.

Перегородка состояла из двух тонких столбиков, на которые натянута была, вместо занавески, старая полинявшая хламида Фортунаты. Столбики эти составляли единственную роскошь кабачка и гордость Сиракса: некогда позолоченные, они давно уже растрескались и облупились; прежде ярко-лиловая, теперь пыльно-голубая ткань хламиды пестрела многими заплатами и следами завтраков, ужинов и обедов, напоминавшими добродетельной Фортунате десять лет семейной жизни.

В чистой половине, отделенной занавеской, на единственном ложе, узеньком и продранном, за столом с оловянным кратером и кубками вина, возлежал римский военный трибун шестнадцатого легиона девятой когорты Марк Скудило. Марк был провинциальный щеголь, с одним из тех лиц, при виде которых бойкие рабыни и дешевые гетеры городских предместий восклицают в простодушном восторге: «какой красивый мужчина!» В ногах его, на той же лектике, в почтительном и неудобном положении тела, сидел краснолицый толстяк, страдавший одышкой, с голым черепом и редкими седыми волосами, зачесанными от затылка на виски, – сотник восьмой центурии Публий Аквила. Поодаль, на полу, двенадцать римских легионеров играли в кости.

– Клянусь Геркулесом, – воскликнул Скудило, – лучше бы я согласился быть последним в Константинополе, чем первым в этой норе! Разве это жизнь, Публий? Ну, по чистой совести отвечай-разве это жизнь? Знать, что кроме учений да казармы, да лагерей ничего впереди.

Сгниешь в вонючем болоте и света не увидишь!

– Да, жизнь здесь, можно сказать, невеселая, – согласился Публий. – Ну, уж зато и спокойно.

Старого центуриона занимали кости; делая вид, что слушает болтовню начальника, подкакивая ему, исподтишка следил он за игрой солдат и думал: «если рыжий ловко метнет – пожалуй, выиграет». Только для приличия Публий спросил трибуна, как будто это занимало его:

– Из-за чего же, говоришь ты, сердит на тебя префект Гельвидий?

– Из-за женщины, Друг мой, все из-за женщины.

И в припадке болтливой откровенности, с таинственным видом, на ухо сообщил Марк центуриону, что префект, «этот старый козел Гельвидий», приревновал его к приезжей гетере лилибеянке; Скудило хочет сразу какойнибудь важной услугой возратить себе милость Гель-

видия. Недалеко от Цезарей, в крепости Мацеллуме, заключены Юлиан и Галл, двоюродные братья царствующего императора Констанция, племянники Константина Великого, последние отпрыски несчастного дома Флавиев.

При вступлении на престол, из боязни соперников, Констанций умертвил родного дядю, отца Юлиана и Галла, Юлия Констанция, брата Константина. Пало еще много жертв. Но Юлиана и Галла пощадили, сослав в уединенный замок Мацеллум. Префект Цезарей, Гельвидий, был в большОм затруднении. Зная, что новый император ненавидит двух отроков, напомним ему о преступлении, Гельвидий и хотел, и боялся угадать волю Констанция.

Юлиан и Галл жили под вечным страхом смерти. Ловкий трибун Скудило, мечтавший о возможности придворной выслуги, понял из намеков начальника, что он не решается принять на себя ответственность и напуган сплетнями о замышляемом бегстве наследников Константина; тогда Марк решился отправиться с отрядом легионеров в Мацеллум и на свой страх схватить заключенных, чтобы отвести их в Цезарею, полагая, что нечего бояться двух несовершеннолетних, всеми брошенных, сирот, ненавистных императору. Этим подвигом надеялся он возвратить себе Милость префекта Гельвидия, утраченную из-за рыжеволосой лилибеянки.

Впрочем, Публию Марк сообщил только часть своих замыслов, и притом осторожно.

– Что же ты хочешь делать, Скудило? Разве получены предписания из Константинополя?

– Никаких предписаний; никто ничего наверное не знает. Но слухи, видишь ли, – тысячи различных слухов и ожиданий, и намеки, и недомолвки, и угрозы, и тайны-о, тайнам нет конца! Всякий дурак сумеет исполнить то, что сказано. А ты угадай безмолвную волю владыки – вот за что благодарят. Посмотрим, попробуем, поищем. Главное – смелее, смелее, осенив себя кРестным знаменем. Я на тебя полагаюсь, Публий. Может быть, мы с тобою скоро будем пить при дворе вино послаще этого...

В маленькое решетчатое окошко падал унылый свет ненастного вечера; однообразно шумел дождь.

Рядом, за тонкой глиняной стенкой со многими щелями, был хлев; оттуда пахло навозом, слышалось кудахтанье кур, писк цыплят, хрюканье свиней; молоко цедилось в звонкий сосуд; должно быть, хозяйка доила корову.

Солдаты, поссорившись из-за выигрыша, ругались шепотом. У самого пола, между ивовых прутьев, чуть прикрытых глиной, в щель выглянула нежная и розовая морда поросенка; он попал в западню, не мог вытащить головы назад и жалобно пищал.

Публий подумал:

«Ну, пока что, а мы теперь ближе к скотному, чем царскому двору».

Тревога его прошла. Трибуну, после неумеренной болтовни, тоже сделалось скучно. Он взглянул на серое дождливое небо в окошке, на глупую морду поросенка, на кислый осадок скверного вина в оловянном кубке, на грязных солдат – и злоба овладела им.

Он застучал кулаком по столу, качавшемуся на неровных ногах.

– Эй, ты, мошенник, хриstopродавец, Сиракс! Подика сюда. Что это за вино, негодяй?

Прибежал кабатчик. У него были четные, как смоль, волосы в мелких кудряшках, и борода такая же черная, с синеватым отливом, тоже в бесчисленных мелких завитках; в минуты супружеской нежности Фортуната говорила, что борода Сиракса подобна гроздьям сладкого винограда; глаза черные и необыкновенно сладкие; сладчайшая улыбка не сходила с румяных губ; он походил на карикатуру Диониса, бога вина: весь казался черным и сладким.

Кабатчик клялся и Моисеем, и Диндименой, и Христом, и Геркулесом, что вино превосходное; но трибун объявил, что знает, в чьем доме зарезан был памфилийский купец Глабрион, и что выведет когда-нибудь его, Сиракса, на чистую воду. Испуганный армянин бросился со всех ног в погреб и скоро с торжеством вынес бутылку необыкновенного вида – широкую, плоскую внизу, с тонким горлышком, всю покрытую благородною плесенью и мхом, как будто седую от старости. Сквозь плесень коегде виднелось стекло, но не прозрачное, а мутное, слегка

радужное; на кипарисовой дощечке, привешенной к горлышку, можно было разобрать начальные буквы:

«Anthosmium» и дальше: «annogum centum»-"столетнее".

Но Сиракс уверял, что уже во времена императора Диоклетиана вина было больше ста лет.

– Черное? – с благоговением спросил Публий.

– Как деготь, и душистое, как амброзия. Эй, Фортуната, для этого вина нужны летние хрустальные чаши.

И дай-ка нам чистого, белого снега из ледника.

Фортуната принесла два кубка. Лицо у нее было здоровое, с приятной желтоватой белизной, как у жирных сливок; казалось, от нее пахнет деревенской свежестью, молоком и навозом.

Кабатчик взглянул на бутылку со вздохом умиления и поцеловал горлышко; потом осторожно снял восковую печать и откупорил. На дно хрустального кубка положили снегу. Вино полилось густою черною пахучею струею; снег таял от прикосновения огненного антосмия; хрустальные стенки сосуда помутились и запотели от лилидд. Тогда Скудило, получивший образование на медные гроши (он был способен смешать Гекубу с Гекатой), произнес с гордостью единственный стих Марциала, который помнил:

*Candida nigrescant vetulo crystallata Falerno*<sup>2</sup>.

– Подожди. Будет еще вкуснее!

Сиракс опустил руку в глубокий карман, достал крошечную бутылочку из цельного оникса и с чувственной улыбкой осторожно подлил в вино каплю драгоценного аравийского киннамона; капля упала в черную антосмию, как мутно-белая жемчужина, и растаяла; в комнате повеял сладкий странный запах.

Пока трибун с восторгом медленно пил, Сиракс прищелкивал языком и приговаривал:

– Библосское, Маронейское, Лаценское, Икарийское – все перед этим дрянь!

Темнело. Скудило отдал приказ собираться в путь.

Легионеры надели панцири, шлемы, на правую ногу железные поножия, взяли щиты и копья.

Когда они вышли за перегородку, исаврские пастухи, похожие на разбойников, сидевшие у очага, почтительно встали перед римским трибуном. Он имел величественный вид; в голове шумело; в жилах был огонь благородного напитка.

На пороге приступил к нему человек в странном восточном одеянии, в белом плаще с красными поперечными полосами и с высоким головным убором из воловьей шерсти – персидской тиарой, похожей на башню. Скудило остановился. Лицо у перса было тонкое, длинное, исхудалое, желто-оливкового цвета; узкие пронизательные глаза – с глубокою и хитрою мыслью; во всех движениях важное спокойствие. Это был один из тех бродячих астрологов, которые с гордостью называли себя халдеями, магами, пирэтами и математиками. Тотчас объявил он трибуну, что имя его Ногодарес; он остановился у Сиракса проездом; держит путь из далекой Анадиабены к берегам Ионического моря, к знаменитому философу и теургу – Максиму Эфесскому. Маг попросил позволения показать свое искусство и погадать на счастье трибуна.

Закрыли ставни. Перс что-то приготавливал на полу; вдруг раздался легкий треск; все притихли. Красноватое пламя поднялось тонким длинным языком из белого дыма, наполнившего комнату. Ногодарес приложил к бескровным губам двуствольную тростниковую дудочку, заиграл, – и звук был томный, жалобный, напоминавший лидийские похоронные песни. Пламя, как будто от этого жалобного звука, пожелтело, померкло, засветилось грустнотонким, бледно-голубым сиянием. Маг подбросил в огонь сушеной травы; разлился крепкий, приятный запах;

---

<sup>2</sup> Светятся льдинки в бокалах с фалернским (лат.).

запах тоже казался грустным: так благоухают полусохшие травы, в туманные вечера, над мертвыми пустынями Арахозии или Дрангианы. И, послушная жалобному звуку дудочки, огромная змея медленно выползла из черного ящика у ног волшебника, развивая с шелестом упругие кольца, блестящие зеленоватым блеском. Тогда он запел протяжным, тихим голосом, так что казалось – песнь доносится издалека; и много раз повторял все он одно и то же слово: «Мара, мара, мара». Змея обвилась вокруг его худого стана и, ласкаясь, с нежным шипением, приблизила плоскую, зелено-чешуйчатую голову с глазами, сверкавшими подобно карбункулам, к самому уху волшебника: длинное раздвоенное жало мелькнуло со свистом, как будто она что-то сказала ему на ухо. Волшебник бросил на землю дудочку. Пламя опять наполнило комнату мутно-белым дымом, но на этот раз с тяжелым, одуряющим, словно могильным, запахом, – и сразу потухло. Стало темно и страшно. Все были в смятении. Но, когда открыли ставни, и упал свинцовый свет дождливых сумерек – от змеи и от ее черного ящика не было ни следа. Лица казались мертвенно-бледными.

Ногодарес подошел к трибуну:

– Радуйся! Тебя ожидает великая и скорая милость блаженного Августа, императора Констанция.

Несколько мгновений он пылливо смотрел на руку Скудило, на очертания ладони; потом, быстро наклонившись к уху его, так что никто не мог слышать, сказал шепотом:

– Кровь, кровь великого цезаря на этой руке!

Скудило испугался.

– Как ты смеешь, проклятая халдейская собака?

Я верный раб...

Но тот почти насмешливо заглянул ему в лицо хитрыми глазами и прошептал:

– Чего ты боишься?.. Через много лет... И разве без крови бывает слава?..

Когда солдаты вышли из таверны, гордость и радость наполняли сердце Скудило. Он подошел к св. Источнику, набожно перекрестился, выпил целебной воды, призывая с усердной мольбой Косьму и Дамиана. втайне надеясь; что предсказание Ногодареса не окажется тщетным; потом вскочил на великолепного каппадокийского жеребца и дал знак, чтобы легионеры выступали в путь. Знаменосец,

«драконарий», поднял знамя в виде дракона из пурпуровой ткани. Трибуну хотелось похвастать перед толпой, высыпавшей из кабака. Он знал, что это опасно, но не мог удержаться, опьяненный вином и гордостью; протянув меч по направлению к ущелью, покрытому туманом, он громко сказал:

– В Мацеллум!

Пронесся шепот удивления; произнесены были имена Юлиана и Галла.

Трубач, стоявший впереди, затрубил в медную «букцину», загнутую кверху в несколько завитков, подобно рогу барана.

Протяжный звук римской трубы разнесся далеко по ущельям, и горное эхо повторило его.

В огромной спальне Мацеллума, бывшего дворца каппадокийских царей, было темно.

Постель десятилетнего Юлиана была жесткая: голое дерево, прикрытое барсовой шкурой; мальчик сам так хотел; недаром старый учитель, Мардоний, воспитывал его в строгих началах стоической мудрости.

Юлиану не спалось. Ветер подымался изредка, порывами, и жалобно, как пойманный зверь, завывал в щелях; потом вдруг становилось тихо; и в странной тишине слышно было, как нечастые крупные капли дождя падали, должно быть, с большой высоты, на звонкие каменные плиты.

Юлиану казалось иногда, что в черном мраке сводов слышится быстрое шуршание летучей мыши. Он различал сонное дыхание брата, спавшего – то был изнеженный и прихотливый

мальчик – на мягком ложе, под старинным запыленным пологом, последним остатком роскоши каппадокийских царей. Из соседнего покоя раздавался тяжелый храп педагога Мардония.

Вдруг маленькая кованая дверца потайной лестницы в стене тихонько скрипнула, отворилась, и луч света ослепил глаза Юлиана. Вошла старая рабыня Лабда; она держала в руке медную лампаду.

– Няня, мне страшно; не уноси огня.

Старуха поставила лампаду в полукруглое каменное углубление над изголовьем Юлиана.

– Не спитесь? не болит ли головка? Хочешь поесть?

Кормит вас впроголодь старый грешник Мардоний. Медовых лепешек принесла. Вкусные. Отведай.

Кормить Юлиана было любимым занятием Лабды; но днем не позволял ей Мардоний, и она приносила лакомства ночью тайком.

Полуслепая старуха, едва таскавшая ноги, ходила всегда в черном монашеском платье; ее считали ведьмой; но она была набожной христианкой; самые Мрачные, древние и новые, суеверия слились в ее голове в странную религию, похожую на безумие: молитвы смешивала она с заклинаниями, олимпийских богов с христианскими бесами, церковные обряды с волшебством; вся была увешана крестиками, кощунственными амулетами из мертвых костей и ладанками с мощами святых.

Старуха любила Юлиана благоговейной любовью, считая его единственным законным наследником императора Константина, а Констанция – убийцей и вором престола.

Лабда знала, как никто, все родословное древо, все вековые семейные предания дома Флавиев; помнила Юлианова деда, Констанция Хлора; кровавые придворные тайны хранились в ее памяти. По ночам старуха рассказывала все Юлиану без разбора. И перед многим, чего детский ум его еще не мог понять, сердце уже замирало от смутного ужаса. С тусклым взором, равнодушным и однообразным голосом рассказывала она эти страшные бесконечные повести, как рассказывают древние сказки.

Поставив лампаду, Лабда перекрестила Юлиана, посмотрела, цел ли на груди его янтарный амулет, и, проговорив несколько заклинаний, чтобы отогнать злых духов, скрылась.

Юлиан забылся тяжелым полусном; ему было жарко; редкие, тяжкие капли дождя, падавшие в тишине, с высоты, как будто в звонкий сосуд, мучили его.

И он не мог различить, спит ли он или не спит, ночной ли ветер шумит, или дряхлая Лабда, похожая на парку, лепечет и шепчет ему на ухо страшные семейные предания. То, что он слышал от нее и что сам видел в детстве, смешивалось в один тяжелый бред.

Он видел труп великого императора на погребальном ложе. Мертвец нарумянен и набелен; хитрая многоэтажная прическа из поддельных волос сделана искуснейшими парикмахерами. Маленького Юлиана подводят, чтобы в последний раз поцеловал он руку дяди. Ребенку страшно; он ослеплен пурпуром, диадемой на поддельных кудрях и великолепием драгоценных камней, блестящих при похоронных свечах. Сквозь тяжелые аравийские благовония первый раз в жизни слышит он запах тления. Но придворные, епископы, евнухи, военачальники приветствуют императора, как живого; послы перед ним склоняются, благодарят его, соблюдая пышный чин; сановники провозглашают эдикты, законы, постановления сената; испрашивают соизволения мертвеца, как будто он может слышать; и льстивый шепот проносится над толпой: люди уверяют, будто бы он так велик, что, по особой милости Провидения, один только царствует и после смерти.

Юлиан знает, что Константин убил сына; вся вина молодого героя была в том, что народ слишком любил его; сын был оклеветан мачехой: она полюбила пасынка грешной любовью и отомстила ему, как Федра Ипполиту; потом оказалось, что жена кесаря в преступной связи с одним из рабов, состоявших при императорской конюшне, и ее задушили в раскаленной бане. Пришла очередь и благородного Лициния. Труп на трупе, жертва за жертвой.

Император, мучимый совестью, молил об очищении иерофантов языческих таинств; ему отказали. Тогда епископ уверил его, что у одной только веры Христовой есть таинства, способные очистить и от таких преступлений. И вот пышный «лабарум», знамя с именем Христа из драгоценных камней, сверкает над похоронным ложем сыноубийцы.

Юлиан хотел проснуться, открыть глаза и не мог.

Звонкие капли по-прежнему падали, как тяжелые, редкие слезы, и ветер шумел; но ему казалось, что не ветер шумит, а Лабда, старая парка, шепчет, лепечет ему на ухо страшные сказки о доме Флавиев.

Юлиану снится, что он – в холодной сырости, рядом с порфиристыми гробами, наполненными прахом царей, в подземелье, родовой гробнице Констанция Хлора; Лабда укрывает его, прячет в самый темный угол, между гробами, и укрывает больного Галла, дрожащего от лихорадки. Вдруг наверху, во дворце, из покоя в покой, под каменными сводами гулких, пустынных палат, раздается предсмертный вопль. Юлиан узнает голос отца, хочет ответить криком, броситься к нему. Но Лабда удерживает мальчика костлявыми руками и шепчет: «Молчи, молчи, а то придут!» – и закрывает его с головой. Потом раздаются торопливые шаги по лестнице – все ближе, ближе. Лабда крестит детей, шепчет заклинания. Стук в дверь, и, при свете факелов, врываются воины кесаря: они переодеты монахами; их ведет епископ Евсевий Никомидийский; панцири сверкают под черными рясами. «Во имя Отца и Сына и Св. Духа! Отвечайте, кто здесь?» Лабда с детьми притаилась в углу. И опять: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа, кто здесь?» И еще в третий раз. Потом, с обнаженными мечами, убийцы шарят. Лабда кидается к ногам их, показывает больного Галла, беспомощного Юлиана: «Побойтесь Бога! Что может сделать императору пятилетний мальчик?» И воины всех троих заставляют целовать крест в руках Евсевия, присягнуть новому императору. Юлиан помнит большой кипарисовый крест с эмалью, изображающей Спасителя: внизу, на темном старом деревце, видны следы свежей крови – обгащенной руки убийцы, державшего крест; может быть, это – кровь отца его или одного из шести двоюродных братьев – Далматия, Аннибалиана, Непотиана, Константина Младшего, или других: через семь трупов перешагнул братоубийца, чтобы вступить на престол, и все совершилось во имя Распятого.

Юлиан проснулся от тишины и ужаса. Звонкие, редкие капли перестали падать. Ветер стих. Лампада, не мерцая, горела в углублении неподвижным, тонким и длинным языком. Он вскочил на постели, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Тишина была невыносимая.

Вдруг внизу раздались громкие голоса и шаги, из покоя в покой, под каменными сводами гулких пустынных палат-здесь, в Мацеллуме, как там, в гробнице Флавиев. Юлиан вздрогнул; ему показалось, что он все еще бредит. Но шаги приближались, голоса становились явственней. Тогда он закричал:

– Брат! Брат! Ты спишь? Мардоний? Разве вы не слышите?

Галл проснулся. Мардоний, босой, с растрепанными седыми волосами, в ночной коротенькой тунике – евнух с морщинистым, желтым и одутловатым лицом, похожий на старую бабу, – бросился к потайной двери.

– Солдаты префекта! Одевайтесь скорей! бежать!

Но было поздно. Послышался лязг железа. Маленькую кованую дверь заперли снаружи. На каменных столбах лестницы мелькнул свет факелов и в нем пурпурное знамя драконария и блестящий крест с монограммой Христа на шлеме одного из воинов.

– Именем правоверного, блаженного августа, императора Констанция – я, Марк Скудило, трибун легиона Фретензис, беру под стражу Юлиана и Галла, сыновей патриарха!

Мардоний, преграждая путь солдатам, стоял перед закрытой дверью спальни, с воинственной осанкой, с мечом в руках; меч был тупой, никуда не годный: он служил старому педагогу только для того, чтобы во время уроков Илиады показывать ученикам, на живом примере, в условных телодвижениях, как сражался Гектор с Ахиллом; школьный Ахилл едва ли

бы сумел зарезать и курицу. Теперь он размахивал этим мечом перед носом Публия по всем правилам военного искусства времен Гомера. Публия, который был пьян, это взбесило:

– Прочь с дороги, пузырь, старая падаль, раздувательный мех! Прочь, если не хочешь, чтобы я проткнул и выпустил из тебя воздух!

Он схватил за горло Мардония и отбросил его далеко, так, что тот ударился о стену и едва не упал. Скудило подбежал к дверям спальни и раскрыл их настежь.

Неподвижная пламя лампы всколыхнулось и побледнело в красном свете факелов. И трибун первый раз в жизни увидел двух последних потомков Констанция Хлора.

Галл казался высоким и крепким; но кожа у него была тонкая, белая и матовая, как у молодой девушки; глаза светло-голубые, ленивые и равнодушные; белокурые, как лен (общий знак Константинова рода), выющиеся волосы покрывали мелкими кудрями толстую, почти жирную шею. Несмотря на возмужалость тела и на легкий пух начинающейся бороды, восемнадцатилетний Галл теперь казался мальчиком: такое детское недоумение и ужас были на лице его; губы дрожали, как у маленьких детей, когда они готовы заплакать; он мигал беспомощно веками, розовыми, опухшими от сна, с очень светлыми ресницами, и, торопливо крестясь, шептал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Юлиан был ребенок тощий, худенький, бледный; лицо некрасивое и неправильное; волосы жесткие, гладкие и черные, нос слишком большой; нижняя губа выдающаяся. Но поразительны были глаза его, делавшие лицо одним из тех, которых, раз увидев, нельзя забыть, – большие, странные, изменчивые, с недетским, напряженным и болезненно ярким блеском, который иногда казался сумасшедшим.

Публий, много раз видевший в молодости Константина Великого, подумал:  
«Этот мальчик будет похож на дядю».

Страх Юлиана перед солдатами исчез: он чувствовал злобу. Крепко стиснув зубы, перекинув через плечо барсовую шкуру с постели, он смотрел на Скудило пристально, исподлобья, и нижняя выдающаяся губа его дрожала; в правой руке, под барсовой шкурой, сжимал он рукоятку тонкого персидского кинжала, тайно подаренного Лабдой; острие было отравлено.

– Волчонок! – молвил один из легионеров, указывая на Юлиана, своему товарищу.

Скудило хотел уже переступить порог спальни, когда у Мардония явилась новая мысль. Он отбросил бесполезный меч, уцепился за платье трибуна и вдруг завопил пронзительным, неожиданно тонким бабьим голосом:

– Что вы делаете, негодяи? Как смеете оскорблять посланного императором Констанцием? Мне поручено отвезти ко двору этих царственных отроков. Август возвратил им свою милость. Вот приказ.

– Что он говорит? Какой приказ?

Скудило взглянул на Мардония: морщинистое, старушечье лицо свидетельствовало о том, что он, в самом деле, евнух. Трибун никогда раньше не видел Мардония, но хорошо знал, в какой милости евнухи при дворе императора.

Мардоний поспешно вынул из книгохранилищного ящика, с пергаментными свитками Гесиода и Гомера, сверток и подал его трибуну.

Скудило, развернув, побледнел: он прочел только первые слова, увидел имя императора, называвшего себя в эдикте «наша вечность», и не разобрал ни года, ни месяца; когда трибун заметил при свертке огромную, хорошо ему знакомую, государственную печать из темно-зеленого воска на позолоченных тесьмах, – в глазах у него помутилось, колени подогнулись.

– Прости! Это ошибка...

– Ах, вы бездельники! Прочь отсюда! Чтоб духу вашего здесь не было! Еще пьяные! Все будет известно императору!

Мардоний вырвал из дрожащих рук Скудило бумагу.

– Не губи меня! Все мы – братья, все мы – грешные люди. Умоляю тебя именем Христа!

– Знаю, знаю, что вы делаете именем Христа, негодяи! Прочь отсюда!

Бедный трибун подал знак отступления. Тогда Мардоний снова поднял тупой меч и, размахивая им, сделался похожим на воина из Илиады. Один только пьяный центурион рвался к нему и кричал:

– Пустите, пустите! Я проткну этот старый пузырь и посмотрю, как он лопнет!

Пьяного увели под руки.

Когда шаги умолкли и Мардоний убедился, что опасность миновала, он громко захохотал; все дряблое, женоподобное тело скопца колыхалось от смеха; он забыл важность, приличную педагогу, и подпрыгивал на своих слабых голых ногах, в ночной тунике, крича от восторга:

– Дети мои, дети! Хвала Гермесу! Ловко мы их провели! Эдикт уже три года как отменен. Дураки, дураки!..

Перед солнечным восходом Юлиан уснул крепким, спокойным сном. Он проснулся поздно, бодрый и веселый, когда голубое небо сияло в решетчатом высоком окне спальни.

Утром был урок катехизиса. Богословие преподавал другой учитель, арианский пресвитер, с руками мокрыми, холодными и костлявыми, с уныло-светлыми, лягушачьими глазами, сгорбленный и высокий как шест, худой как щепка, монах Евтропий. У него была неприятная привычка, тихонько лизнув ладонь руки, быстро приглаживать ею облезлые, седенькие височки и непременно, тотчас же после того, вкладывая пальцы в пальцы, слегка пощелкивать суставами. Юлиан знал, что за одним движением неминуемо последует другое, и это раздражало его. Евтропий носил черную рясу, заплатанную, со многими пятнами, уверяя, что носит плохую одежду из смирения; на самом деле он был скряга.

Евсевий Никомидийский, духовный опекун Юлиана, избрал этого наставника.

Монах подозревал в своем питомце «тайную строптивость ума», которая, по мнению учителя, грозила Юлиану вечною погибелью, ежели он не исправится. Евтропий неумоимо говорил о тех чувствах, которые ребенок обязан питать к своему благодетелю, императору Констанцию.

Объяснял ли он Новый Завет, или арианский догмат, или пророческое знаменье, – все сводилось к этой цели, к этому «корню святого послушания и сыновней покорности». Казалось, подвиги смирения и любви, мученические жертвы-только ряд ступеней, по которым триумфатор Констанций восходит на престол. Но иногда, в то время, как арианский монах говорил о благодеяниях императора, оказанных ему, Юлиану, мальчик смотрел молча прямо в глаза учителю глубоким взором; он знал, что в это мгновение думает монах, так же, как тот знал, что думает ученик; и они об этом не говорили.

Но после того, если Юлиан останавливался, забыв перечисление имен ветхозаветных патриархов, или плохо выученную молитву, Евтропий, так же молча, с наслаждением, смотрел на него лягушачьими глазами и тихонько брал его за ухо двумя пальцами, как будто лаская; ребенок чувствовал, как медленно впивались в ухо его два острых, жестких ногтя.

Евтропий, несмотря на видимую угрюмость, обладал насмешливым и по-своему веселым нравом; он давал ученику самые нежные названия: «дражайший мой», «первенец души моей», «возлюбленный сын мой», и посмеивался над его царственным происхождением; каждый раз, ущипнув его за ухо, когда Юлиан бледнел не от боли, а от злости, монах произносил подобострастно:

– Не изволит ли гневаться твое величество на смиренного и художного раба Евтропия?

И лизнув ладонь, приглаживал височки, и слегка потрескивал пальцами, прибавляя, что злых и ленивых мальчиков очень бы хорошо поучить иногда лозою, что об этом упоминается и в Священном Писании: лоза темный и строптивый ум просвещает. Говорил он это только для того, чтобы смирить «бесовский дух гордыни» в Юлиане: мальчик знал, что Евтропий не посмеет исполнить угрозу; да и монах сам был втайне убежден, что ребенок скорее умрет, чем позволит себя высечь; и все-таки учитель по часту и подолгу говорил об этом.

В конце урока, при объяснении какого-то места из Священного Писания, Юлиану случилось заикнуться об антиподах, о которых слышал он от Мардония. Может быть, он сделал это нарочно, чтобы взбесить монаха; но тот залился тонким смехом, закрывая рот ладонью.

– И от кого ты слышал, дражайший, об антиподах?

Ну, насмешил ты меня, грешного, насмешил! Знаю, знаю, у старого глупца Платона кое-что о них говорится. А ты и поверил, что люди вверх ногами ходят?

Евтропий стал обличать безбожную ересь философов: не постыдно ли думать, что люди, созданные по образу и подобию Божью, ходят на головах, издеваясь, так сказать, над твердью небесной? Когда же Юлиан, обиженный за любимых мудрецов, упомянул о круглости земли, Евтропий вдруг перестал смеяться и пришел в такую ярость, что, весь побагровев, затопал ногами.

– От Мардония-язычника наслушался ты этой лжи богопротивной!

Когда он сердился, то говорил, запинаясь, брызгая слюною; слюна эта казалась Юлиану ядовитой. Монах с ожесточением напал на всех мудрецов Эллады; он забыл, что перед ним ребенок, и произносил уже искренно целую проповедь, задетый Юлианом за большое место: старика Пифагора, «выжившего из ума», обвинял в бесстыдной дерзости; о бреднях Платона, казалось ему, и говорить не стоит; он просто называл их «омерзительными»; учение Сократа – «безрассудным».

– Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэртца, – сообщал он Юлиану злорадно, – найдешь, что он был ростовщиком; кроме того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить непристойно.

Но особенную ненависть возбуждал в нем Эпикур:

– Я не считаю сего и стоящим ответа: зверство, с каким погружался он во все роды похотей, и низость, с какою он делался рабом чувственных удовольствий, довольно показывают, что он был не человек, а скот.

Успокоившись немного, принялся объяснять неуловимый оттенок арианского догмата, с такой же яростью нападая на православную церковь, которую называл еретической.

В окно, из сада, веяло свежестью. Юлиан делал вид, что внимательно слушает Евтропия; на самом деле думал он о другом-о своем любимом учителе Мардонии; вспоминал его мудрые беседы, чтения Гомера и Гесиода: как они были непохожи на уроки монаха!

Мардонии не читал, а пел Гомера, по обычаю древних рапсодов; Лабда смеялась, что он «воет, как пес на луну». И в самом деле, непривычным людям было смешно: старый евнух делал ударения на каждой стопе гекзаметра, размахивая в лад руками; и важность была на желтом, морщинистом лице его. Но тоненький бабий голосок становился все громче и громче. Юлиан не замечал уродства старика; холод наслаждения пробегал по телу мальчика; божественные гекзаметы переливались и шумели, как волны: он видел прощание Андромахи с Гектором, Одиссея, тоскующего по своей Итаке, на острове Калипсо, пред унылым пустынным морем. И сердце Юлиана щемила сладкая боль, тоска по Элладе – родине богов, родине всех, кто любит красоту. Слезы дрожали в голосе учителя, слезы текли по желтым щекам его.

Иногда Мардоний говорил ему о мудрости, о суровой добродетели, о смерти героев за свободу. О, как и эти речи были не похожи на речи Евтропия! Он рассказывал ему жизнь Сократа; когда доходил до Апологии перед афинским народом, то вскакивал и читал наизусть речь философа; лицо его делалось спокойным и немного презрительным: казалось-говорит не подсудимый, а судья народа; Сократ не просит милости; вся власть, все законы государства-ничто перед свободой духа человеческого; афиняне могут умертвить его, но не отнимут свободы и счастья у бессмертной души его. И когда этот скиф, варвар, купленный раб с берегов Борисфена, восклицал: «свобода!»-Юлиану казалось, что в слове этом такая красота, что перед ней бледнеют образы Гомера. И смотря широко открытыми, почти безумными глазами на учителя, весь дрожал он и холодел от восторга.

Мальчик проснулся от грез, почувствовав прикосновение к уху колючих холодных пальцев. Урок катехизиса кончился. Став на колени, он прочел благодарственную молитву. Потом, вырвавшись от Евтропия, побежал к себе в келью, взял книгу и направился в любимый уголок сада, чтобы читать на свободе. Книга была запретная, Симпозион, богохульного и нечестивого Платона. На лестнице Юлиан нечаянно столкнулся с уходившим Евтропием.

– погоди, погоди-ка, дражайший. Что это за книжечка у твоего величества?

Юлиан взглянул на него спокойно и подал книгу.

На пергаментном переплете прочел монах заглавие большими буквами: «Послания Апостола Павла». Он отдал не развернув.

– Ну, то-то же. Помни: я за твою душу отвечаю перед Богом и перед великим государем. Не читай еретических книг, в особенности же тех философов, суетную мудрость коих я довольно обличил сегодня.

Это была обычная хитрость мальчика: он завертывал запрещенные книги в переплеты с невинными заглавиями.

Юлиан научился лицемерить с детства с недетским совершенством. Обманывал с наслаждением, в особенности Евтропия. Иногда притворялся, хитрил и лицемерил без нужды, по привычке, с чувством злобной и мстительной радости; обманывал всех, кроме Мардония.

В Мацеллуме, между бесчисленными праздными слугами и служанками, не было конца проискам, клеветам, сплетням, подозрениям, доносам. Придворная челядь, на деясь выслужаться, днем и ночью следила за царственными братьями, попавшими в немилость.

С тех пор, как Юлиан себя помнил, он ждал смерти со дня на день, и мало-помалу почти привык к страху, знал, что ни в доме, ни в саду не может сделать шага, который ускользнул бы от тысячи глаз. Ребенок многое слышал и понимал, но поневоле должен был делать вид, что не слышит и не понимает. Однажды донеслось к нему несколько слов из беседы Евтропия с подосланным от Констанция соглядатаем, в которой монах называл Юлиана и Галла «царственными щенятами». В другой раз, в крытом ходу, под окнами кухни, мальчик нечаянно подслушал, как старый пьяница-повар, раздраженный какойто дерзостью Галла, говорил своей любовнице, рабыне, перемывавшей посуду: «Господь да сохранит мою душу, Присцилла, – удивляюсь я, как это их еще до сей поры не придушили!» Когда Юлиан, после урока катехизиса, выбежал из дома и увидел зелень деревьев, он вздохнул свободнее.

Вечные снега двуглавой вершины Аргея белели на голубом небе. От близких ледников веяло прохладой. Просеки уходили вдаль непроницаемыми сводами южных дубов, с мелкими блестящими черно-зелеными листьями; коегде прорывался луч и трепетал на зелени платанов. Только с одной стороны сада не было стен: там кончался он обрывом. Внизу тянулась пустыня до самого края неба, до Антитавра. Она дышала зноем. А в саду шумели студеные воды, низвергались с грохотом, били фонтанами, лепетали струйками под кущами олеандров. Мацеллум, столетия тому назад, был любимым приютом роскошного и полубезумного царя Каппадокии Ариарафа.

Юлиан, с книгой Платона, направился в уединенную пещеру, недалеко от обрыва. Там стоял козлоногий Пан, игравший на свирели, и маленький жертвенник. В каменную раковину струилась вода из львиной пасти. Вход был заткан желтыми розами; между ними виднелись холмы пустыни, туманно-голубые, волнообразные, как море; запах чайных роз наполнял пещеру. В ней было бы душно, если бы не ледяная струйка. Ветер приносил желто-белые лепестки, усыпал ими землю и воду. Слышно было жужжание пчел в темном теплом воздухе.

Юлиан, лежа на мху, читал «Пир»; многого не понимал; но прелесть книги была в том, что она запретная.

Отложив Платона, он опять завернул его в переплет Посланий Апостола Павла, тихонько подошел к жертвеннику Пана, взглянул на веселого бога как на старого сообщника и, разрыв груду сухих листьев, достал из внутренности жертвенника, проломанного и прикрытого

дощечкой, предмет, старательно обвернутый тканью. Осторожно развернув, мальчик поставил его перед собой. Это было его создание, великолепный игрушечный корабль, «либурнская трирема». Он подошел к чаше водомета и опустил корабль в воду. Трирема закачалась на маленьких волнах. Все готово – три мачты, снасти, весла; нос позолочен; паруса-из шелковой тряпочки, подаренной Лабдой. Оставалось приделать руль. И мальчик принялся за работу. Стругая дощечку, изредка посматривал на даль, сквозившую между розами, на волнообразные холмы.

И над игрушечным кораблем своим скоро забыл все обиды, всю свою ненависть и вечный страх смерти. Воображал себя затерянным среди волн, в пустынной пещере, высоко над морем, хитроумным Одиссеем, строящим корабль, чтобы вернуться в милую отчизну. Но там, среди холмов, где белели крыши Цезарей, как пена на морских волнах, – крест, маленький блестящий крест над базиликой, мешал ему. Этот вечный крест! Он старался не видеть его, утешаясь триремой.

– Юлиан! Юлиан! Да где же он? В церковь пора.

Евтропий зовет тебя в церковь!

Мальчик вздрогнул и поспешно спрятал трирему в отверстие жертвенника; потом поправил волосы, одежду; и когда он выходил из пещеры, лицо его приняло снова непроницаемое, недетское выражение глубокого лицемерия – словно жизнь от него отлетела.

Держа Юлиана за руку своей холодной костлявой рукой, Евтропий повел его в церковь.

## IV

Арианская базилика св. Маврикия построена была почти целиком из камней разрушенного храма Аполлона.

Священный двор, «атриум», окружали с четырех сторон ряды столбов. Посредине журчал фонтан для омовения молящихся. В одном из боковых притворов была древняя гробница из резного потемневшего дуба; в ней покоились чудотворные мощи святого Мама. Евтропий заставлял Юлиана и Галла строить каменную раку над мощами.

Работа Галла, который считал ее приятным телесным упражнением, подвигалась; но стенка Юлиана то и дело рушилась. Евтропий объяснил это тем, что св. Мама отвергает дар отрока, одержимого духом бесовской гордыни.

Около гробницы толпились больные, ждавшие исцеления. Юлиан знал, зачем они приходят: у одного арианского монаха были в руках весы; богомольцы-многие из далеких селений, отстоявших на несколько парасангов – тщательно взвешивали куски льняной, шелковой или шерстяной ткани, и положив их на гроб св. Мама, молились подолгу – иногда целую ночь до утра; потом ту же ткань снова взвешивали, чтобы сравнить с прежним весом; если ткань была тяжелее, значит, молитва исполнена: благодать святого вошла, подобно ночной росе, – впиталась в шелк, лен или шерсть, и теперь ткань могла исцелять недуги. Но часто молитва оставалась неслышанной, ткань не тяжелела, и богомольцы проводили у гроба дни, недели, месяцы. Здесь была одна бедная женщина, старица Феодула: одни считали ее полоумной, другие святой; уже целые годы не отходила она от гробницы Мама; большая дочь, для которой старица сначала просила исцеления, давно умерла, а Феодула по-прежнему молилась о кусочке полинявшей, истрепанной ткани.

Три двери из атриума вели в арианскую базилику: одна – в мужское отделение, другая – в женское, третья – в отделение для монахов и клира.

Вместе с Галлом и Евтропием, Юлиан вошел в среднюю дверь. Он был анагностом – церковным чтецом у св. Маврикия. Его облакала длинная черная одежда с широкими рукавами; волосы, умащенные елеем, придерживались тонкой тесьмой, для того чтобы при чтении не падали на глаза.

Он прошел среди народа, скромно потупившись. Бледное лицо почти непроизвольно принимало выражение лицемерного, необходимого, давно привычного смирения.

Он взошел на высокий арианский амвон.

Живопись на одной из стен изображала мученический подвиг св. Евфимии: палач схватил голову страдальницы и держал ее откинутой назад, неподвижно; другой, открыв ей рот щипцами, приближал к нему чашу, должно быть, с расплавленным свинцом. Рядом изображено было другое мучение: та же Евфимия привешена к дереву за руки, и палач стругает орудием пытки ее окровавленные, девственные, почти детские члены. Внизу была надпись: «Кровью мучеников. Господи, церковь Твоя украшается, как багрянницей и виссоном». ки, горящие в аду, над ними рай со святыми угодниками; один из них срывал румяный плод с дерева, другой пел, играя на гусях, а третий наклонился, облокотившись на облако, и смотрел на адские муки, с тихой усмешкой. Внизу надпись: «там будет плач и скрежет зубов».

Больные от гроба св. Мама вошли в церковь; это были хромые, слепые, калеки, ослабленные, дети на костылях, похожие на стариков, бесноватые, юродивые, – бледные лица с воспаленными веками, с выражением тупой, безнадежной покорности. Когда хор умолкал, в тишине слышались сокрушенные воздыхания церковных вдов – калугрий, в темных одеждах, или позвякивание вериг старца Памфила: в продолжение многих лет Памфил ни с одним человеком не молвил слова и только повторял;

«Господи) Господи! дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную».

Воздух был теплый, душный, как в подземелье-тяжелый, пропитанный ладаном, запахом воска, гарью лампад, дыханием больных.

В тот день Юлиан должен был читать Апокалипсис.

Проносились страшные образы Откровения: бледный конь в облаках, имя которому Смерть; племена земные тоскуют, предчувствуя кончину мира; солнце мрачно, как власяница, луна сделалась как кровь; люди говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Повторялись пророчества: «Люди будут искать смерти и не найдут ее; пожелают умереть и смерть убежит от них». Раздавался вопль: «блаженны мертвые!»-Это было кровавое избиение народов; виноград брошен в великое точило гнева Божия, и ягоды истоптаны, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. «И люди проклинали Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись в делах своих. И Ангел возопил: кто поклоняется Зверю и образу его, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере, перед святыми Ангелами и Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющийся Зверю и образу его».

Юлиан умолк; в церкви была тишина; в испуганной толпе слышались только тяжелые вздохи, удары головой о плиты и звяканья цепей юродивого: «Господи! Господи! Дай мне слезы, дай мне умиление, дай мне память смертную!» Мальчик взглянул вверх, на огромный полукруг мозаики между столбами свода: это был арианский образ Христа – грозный, темный, исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме, похожей на диадему византийских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и строго сжатыми губами; десницей благословлял он мир; в левой руке держал книгу; в книге было написано: «Мир вам. Я свет мира». Он сидел на великолепном престоле, и римский император – Юлиану казалось, что это Констанций, – целовал Ему ноги.

А между тем, там, внизу, в полумраке, где теплилась одна лишь лампада, виднелся мраморный барельеф на гробнице первых времен христианства. Там были изваяны маленькие нежные Нереиды, пантеры, веселые тритоны; и рядом – Моисей, Иона с китом, Орфей, укрощающий звуками лиры хищных зверей, ветка оливы, голубь и рыба – простодушные символы детской веры; среди них – Пастырь Добрый, несущий Овцу на плечах, заблудшую и найденную Овцу – душу грешника.. Он был радостен и прост, этот босоногий юноша, с лицом безбородым, смиренным и кротким, как лица бедных поселян; у него была улыбка тихого веселия. Юлиану казалось, что никто уже не знает и не видит Доброго Пастыря; и с этим маленьким изображением иных времен для него связан был какой-то далекий, детский сон, который иногда хотел он вспомнить и не мог. Отрок с овцой на плечах смотрел на него, на него одного, с таинственным вопросом. И Юлиан шептал слово, слышанное от Мардония: «Галилеянин!» И в это мгновение, упав из окна, косые лучи солнца задрожали столбом в облаке ладана; и тихо колеблясь, как будто подняло оно вспыхнувший золотым сиянием грозный, темный лик Христа. Хор торжественно грянул:

"Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет.

Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь серным. Предходят же Сему лица Ангельский, со всяким началом и властью, многоочитии херувими и шестокрилатии серафими закрывающе и вопиюще песнь: Аллилуиа! Аллилуйи!

Аллилуиа!" И песнь, как буря, пронеслась над склоненными головами молящихся.

Образ босоногого юноши. Доброго Пастыря, уходил в неизмеримую даль, но все еще смотрел на Юлиана с вопросом. И сердце мальчика сжималось не от благоговения, а от ужаса перед этой тайной, которую во всю жизнь не суждено ему было разгадать.

Из базилики вернулся он в Мацеллум, захватил с собой готовую, тщательно завернутую трирему, и никем не замеченный (Евтропий уехал на несколько дней) выскользнул из ворот крепости и побежал мимо церкви св.

Маврикия к соседнему храму Афродиты.

Роца богини соприкасалась с кладбищем христианской церкви. Вражда и споры, даже тяжбы между двумя храмами, никогда не прекращались. Христиане требовали разрушения капища. Жрец Олимпиодор жаловался на церковных сторожей: по ночам они тайно вырубали вековые кипарисы заповедной роци и рыли могилы для христианских покойников в земле Афродиты.

Юлиан вступил в роцу. Теплый воздух охватил его.

Полуденный зной выжал из серой волокнистой коры кипарисов капли смолы. Юлиану казалось, что в полумраке веет дыхание Афродиты.

Между деревьями белели изваяния. Здесь был Эрос, натягивающий лук; должно быть, церковный сторож, издеваясь над идолом, отбил мраморный лук: вместе с двумя руками бога, оружие любви покоилось в траве, у подножия статуи; но безрукий мальчик по-прежнему, выставив одну пухлую ножку вперед, целился с резвой улыбкой.

Юлиан вошел в домик жреца Олимпиодора. Комнаты были маленькие, тесные, почти игрушечные, но уютные; никакой роскоши, скорее бедность; ни ковров, ни серебра; простые каменные полы, деревянные скамьи и стулья, дешевые амфоры из обожженной глины. Но в каждой мелочи было изящество. Ручка простой кухонной лампы изображала Посейдона с трезубцем: это была древняя искусная работа. Иногда Юлиан подолгу любовался на стройные очертания простой глиняной амфоры с дешевым оливковым маслом. Всюду на стенах виднелась легкая живопись: то Нереида, сидящая верхом на водяном чешуйчатом коне; то пляшущая молодая богиня в длинном пеплуме с выющимися складками.

Все смеялось в домике, облитом солнечным светом: смеялись Нереиды на стенах, пляшущие богини, тритоны, даже морские чешуйчатые кони; смеялся медный Посейдон на ручке лампы; тот же смех был и на лицах обитателей дома; они родились веселыми; им довольно было двух дюжин вкусных олив, белого пшеничного хлеба, кисти винограда, нескольких кубков вина, смешанного с водою, чтобы счесть это за целый пир, и чтобы жена Олимпиодора, Диофана, в знак торжества, повесила на двери лавровый венок.

Юлиан вошел в садик атриума. Под открытым небом бил фонтан. Рядом, среди нарциссов, аканфов, тюльпанов и мирт стояло небольшое бронзовое изваяние Гермеса, крылатого, смеющегося, как все в доме, готового вспорхнуть и улететь. Над цветником на солнце вились пчелы и бабочки.

Под легкой тенью портика на дворе Олимпиодор и его семнадцатилетняя дочь Амариллис играли в изящную аттическую игру – коттабу: на столбике, вбитом в землю, поперечная переключина качалась, подобно коромыслу весов; к обоим концам ее привешены небольшие чашечки; под каждой подставлен сосуд с водой и с маленьким медным изваянием; надо было, с некоторого расстояния, плеснуть из кубка вином так, чтобы попасть в одну из чашек, и чтобы, опустившись, ударила она об изваяние.

– Играй, играй же. За тобой очередь! -кричала Амариллис.

– Раз, два, три!

Олимпиодор плеснул и не попал; он смеялся детским смехом; странно было видеть высокого человека с проседью в волосах, увлеченного игрою, подобно ребенку.

Девушка красивым движением голой руки, откинув лиловую тунику, плеснула вином – и чашечка коттабы зазвенела, ударившись.

Амариллис захлопала в ладоши и захохотала.

Вдруг в дверях увидели Юлиана.

Все начали целовать его и обнимать. Амариллис кричала:

– Диофана! Где же ты? Посмотри, какой гость! Скорее! Скорее!

Диофана прибежала из кухни.

– Юлиан, мальчик мой милый! Что ты, будто похудел? Давно мы тебя не видали...

И она прибавила, сияющая от веселья:

– Радуйтесь, дети мои. Сегодня будет у нас пир.

Я приготовлю венки из роз, зажарю три окуня и сготовлю сладкие инбирные печенья...

В эту минуту молодая рабыня подошла и шепнула Олимпиодору, что богатая патрицианка из Цезарей желает его видеть, имея дело к жрецу Афродиты. Он вышел.

Юлиан и Амариллис стали играть в коттабу.

Тогда неслышно на пороге появилась десятилетняя тонкая, бледная и белокурая девочка, младшая дочь Олимпиодора, Психея. У нее были голубые, огромные и печальные глаза. Одна во всем доме казалась она не посвященной Афродите, чуждой общему веселью. Она жила отдельной жизнью, оставаясь задумчивой, когда все смеялись, и никто не знал, о чем она скорбит, чему радуется. Отец считал ее жалким существом, неизлечимо больной, испорченной недобрым взглядом, чарами вечных врагов своих, галилеян: они из мести отняли у него ребенка; чернокудрая Амариллис была любимой дочерью Олимпиодора; но мать тайком баловала Психею и с ревнивой страстностью любила больного ребенка, не понимая внутренней жизни его.

Психея, скрываясь от отца, ходила в базилику св.

Маврикия. Не помогали ни ласки матери, ни мольбы, ни угрозы. Жрец в отчаянии отступился от Психеи. Когда говорили о ней, лицо его омрачалось и принимало недоброе выражение. Он уверил, будто бы за нечестие ребенка виноградник, прежде благословляемый Афродитой, стал приносить меньше плодов, ибо довольно было маленького золотого крестика, который девочка носила на груди, для того чтобы осквернить храм.

– Зачем ты ходишь в церковь? – спросил ее однажды Юлиан.

– Не знаю. Там хорошо. Ты видел Доброго Пастыря?

– Да, видел. Галилеянин! Откуда ты про Него знаешь?

– Мне старушка Феодула сказывала. С тех пор я хожу в церковь. И отчего это, скажи мне, Юлиан, отчего они все так не любят Его?

Олимпиодор вернулся, торжествующий, и рассказал о своей беседе с патрицианкой: это была молодая, знатная девушка; жених разлюбил ее; она думала, что он околдован чарами соперницы; много раз ходила она в христианскую церковь, усердно молилась на гробнице св. Мамы.

Ни посты, ни бдения, ни молитвы не помогли. «Разве христиане могут помочь?» – заключил Олимпиодор с презрением и взглянул исподлобья на Психею, которая внимательно слушала.

– И вот христианка пришла ко мне: Афродита исцелит ее!

Он показал с торжеством двух связанных белых голубков: христианка просила принести их в жертву богине.

Амариллис, взяв голубков в руки, целовала нежные розовые клювы и уверяла, что их жалко убивать.

– Отец, знаешь что? Мы принесем их в жертву, не убивая.

– Как? Разве может быть жертва без крови?

– А вот как. Пустим на свободу. Они улетят прямо в небо, к престолу Афродиты. Не правда ли? Богиня там, в небе. Она примет их. Позволь, пожалуйста, милый!

Амариллис так нежно целовала его, что он не имел духа отказать.

Тогда девушка развязала и пустила голубей. Они затрепетали белыми крыльями с радостным шелестом и полетели в небо – к престолу Афродиты. Заслоняя глаза рукой, жрец смотрел, как исчезает в небе жертва христианки. И Амариллис прыгала от восторга, хлопая в ладоши:

– Афродита! Афродита! Прими бескровную жертву!

Олимпиадор ушел. Юлиан торжественно и робко приступил к Амариллис. Голос его дрогнул, щеки вспыхнули, когда тихо произнес он имя девушки.

– Амариллис! Я принес тебе...

– Да, я уже давно хотела спросить, что это у тебя?

– Трирема...

– Трирема? Какая? Для чего? Что ты говоришь?

– Настоящая, либурнская...

Он стал быстро разворачивать подарок, но вдруг почувствовал неодолимый стыд.

Амариллис смотрела в недоумении.

Он совсем смутился и взглянул на нее с мольбой, опуская игрушечный корабль в маленькие волны фонтана.

– Ты не думай, Амариллис, трирема настоящая.

С парусами. Видишь, плавает и руль есть...

Но Амариллис громко хохотала над подарком;

– На что мне трирема? Недалеко с ней уплывешь.

Это корабль для мышей или цикад. Подари лучше Психее: она будет рада. Видишь, как смотрит.

Юлиан был оскорблен. Он старался принять равнодушный вид, но чувствовал, что слезы сжимают горло его, концы губ дрожат и спускаются. Он сделал отчаянное усилие, удержался от слез и сказал:

– Я вижу, что ты ничего не понимаешь...

Подумал и прибавил:

– Ничего не понимаешь в искусстве!

Но Амариллис еще громче засмеялась.

К довершению обиды позвали ее к жениху. Это был богатый самосский купец. Он слишком сильно душился, одевался безвкусно и в разговоре делал грамматические ошибки. Юлиан его ненавидел. Весь дом омрачился, и радость исчезла, когда он узнал, что пришел самосец.

Из соседней комнаты доносилось радостное щебетание Амариллис и голос жениха.

Юлиан схватил свою дорогую, настоящую, либургскую трирему, стоившую ему столько трудов, сломал мачту, сорвал паруса, перепутал снасти, растоптал, изуродовал корабль, не говоря ни слова, с тихой яростью, к ужасу Психеи.

Амариллис вернулась. На лице ее были следы чужого счастья – тот избыток жизни, чрезмерная радость любви, когда молодым девушкам все равно, кого обнимать и целовать.

– Юлиан, прости меня; я обидела тебя. Ну, прости же, дорогой мой! Видишь, как я тебя люблю... люблю...

И прежде чем он успел опомниться, Амариллис, откинув тунику, обвила его шею голыми, свежими руками.

Сердце его упало от сладкого страха: он увидел так близко от себя, как никогда еще, большие, влажно-черные глаза; от нее пахло сильно, как от цветов. Голова мальчика закружилась. Она прижимала тело его к своей груди. Он закрыл глаза и почувствовал на губах поцелуй.

– Амариллис! Амариллис! Где же ты?

Это был голос самосца. Юлиан изо всей силы оттолкнул девушку. Сердце его сжалось от боли и ненависти.

Он закричал: «Оставь, оставь меня!»-вырвался и убежал.

– Юлиан! Юлиан!

Не слушая, бежал он прочь из дома, через виноградник, через кипарисовую рощу и остановился только у храма Афродиты.

Он слышал, как его звали; слышал веселый голос Диофаны, возвещавшей, что инбирное печенье готово, и не отвечал. Его искали. Он спрятался в лавровых кустах у подножья Эроса и переждал. Подумали, что он убежал в Мацеллум: в доме привыкли к его угрюмым странностям.

Когда все утихло, он вышел из засады и взглянул на храм богини любви.

Храм стоял на холме, открытый со всех сторон. Белый мрамор ионических колонн, обли-тый солнцем, с негой купался в лазури; и темная теплая лазурь радовалась, обнимая этот мрамор, холодный и белый, как снег; по обоим углам фронтоны увенчаны были двумя акротэрами в виде грифонов: с поднятою когтистою лапою, с открытыми орлиными клювами, с круглыми женскими сосцами вырезывались они гордыми, строгими очертаниями на голубых небесах.

Юлиан по ступеням вошел в портик, тихонько отворил незапертую медную дверь и вступил во внутренность храма, в священный Хаос.

На него повеяло тишиной и прохладой.

Склонившееся солнце еще озаряло верхний ряд капителей с тонкими завитками, похожими на кудри; а внизу был уже сумрак. С треножника пахло пепелом сожженной мирры.

Юлиан робко поднял глаза, прислонившись к стене, притаив дыхание, – и замер.

Это была она. Под открытым небом стояла посредине храма только что из пены рожденная, холодная, белая Афродита-Анадиомена, во всей своей нестыдящейся наготы. Богиня как будто с улыбкой смотрела на небо и море, удивляясь прелести мира, еще не зная, что это – ее собственная прелесть, отраженная в небе и море, как в вечных зеркалах. Прикосновение одежд не оскверняло ее.

Такой стояла она там, вся целомудренная и вся нагая, как это безоблачное, почти черносинее небо над ее головой.

Юлиан смотрел ненасытно. Время остановилось. Вдруг он почувствовал, что трепет благоговения пробежал по телу его. И мальчик в темных монашеских одеждах опустил на колени перед Афродитой, подняв лицо, прижав руки к сердцу.

Потом все так же вдали, все так же робко, сел на подножие колонны, не отводя от нее глаз; щека прислонилась к холодному мрамору. Тишина сходила в душу. Он задремал; но и сквозь сон чувствовал ее присутствие: она опускалась к нему ближе и ближе; тонкие, белые руки обвили вокруг его шеи. Ребенок отдавался с бесстрастной улыбкой бесстрастным объятиям. До глубины сердца проникал холод белого мрамора. Эти святые объятия не походили на болезненно страстные, тяжкие, знойные объятия Амариллис. Душа его освобождалась от земной любви.

То был последний покой, подобный амброзийной ночи Гомера, подобный сладкому отдыху смерти...

Когда он проснулся, было темно. В четырехугольнике открытого неба сверкали звезды. Серп луны кидал сияние на голову Афродиты.

Юлиан встал. Должно быть, Олимпиодор приходил, но не заметил или не хотел разбудить мальчика, угадав его горе. Теперь на бронзовом треножнике рдели угли, и струйки благовонного дыма подымались к лицу богини.

Юлиан подошел, взял из хризолитовой чаши между ногами треножника несколько зерен душистой смолы и бросил на угли алтаря. Дым за клубился обильнее. И розовый отблеск огня вспыхнул, как легкий румянец жизни на лице богини, сливаясь с блеском новорожденного месяца. Чистая Афродита-Урания как будто сходила от звезд на землю.

Юлиан наклонился и поцеловал ноги изваяния.

Он молился ей:

– Афродита! Афродита! Я буду любить тебя вечно.

И слезы падали на мраморные ноги изваяния.

На берегу Средиземного моря, в одном из грязных и бедных предместий Селевки Сирийской, торговой гавани Великой Антиохии, кривые, узкие улицы выходили на площадь у набережной; моря не было видно из-за леса мачт и снастей.

Дома состояли из беспорядочно нагроможденных клетушек, обмазанных глиной. С улицы прикрывались они иногда истрепанным ковром, похожим на грязное лохмотье, или циновкой. Во всех этих углах, клетушках, переулочках, с тяжелым запахом помоев, прачешень и бань для рабочих, копошился пестрый, нищий, голодный сброд.

Солнце, сжигавшее засухой, землю, закатилось. Наступали сумерки. Зной, пыль, мгла еще тягостней повисли над городом. С рынка веял удушливый запах мяса и овощей, пролежавших весь день на жаре. Полуголые рабы с кораблей носили по сходням тюки на плечах; одна сторона головы была у них выбрита; сквозь лохмотья виднелись рубцы от ударов; у многих чернели во все лицо клейма, выжженные каленым железом: две латинские буквы с и F, что значило – Cave Fugem, Берегись Вора.

Зажигались огни. Несмотря на приближение ночи, суетня и говор в тесных переулках не утихали. Из соседней кузницы слышались раздражающие уши удары молота по железным листам; вспыхивало зарево горна; клубилась копоть. Рядом рабы-хлебопеки, голые, покрытые с головы до ног белою мучною пылью, с красными воспаленными от жара веками, сажали хлебы в печи. Сапожник в открытой лавчонке, откуда пахло клеем и кожей, тачал сапоги при свете лампадки, сидя на корточках и во все горло распевая песни на языке варваров. Из клетушки в клетушку, через переулок, две старухи, настоящие ведьмы, с растрепанными седыми волосами, кричали и бранились, протягивая руки, чтобы сцепиться, из-за веревки, на которую вешали сушиться тряпье. А внизу торговец, спеша издалека по утру на рынок, на костлявой ободранной кляче, в ивовых корзинах вез целую гору несвежей рыбы; прохожие от невыносимого смрада отворачивались и ругались. Толстошекий жиденок с красными кудрями, наслаждаясь оглушительным громом, колотил в огромный медный таз. Другие дети – крохотные, бесчисленные, рождавшиеся и умиравшие каждый день сотнями в этой нищете, – валялись, визжа как поросята, вокруг луж с апельсиновыми корками" с яичными скорлупами В еще более темных и подозрительных переулках, где жили мелкие воришки, где из кабачков пахло сыростью и кислым вином, корабельщики со всех концов света ходили обнявшись и орали пьяные песни. Над воротами лупанара повешен был фонарь с бесстыдным изображением, посвященным богу Приапу, и когда на дверях приподымали покров – центону, внутри виднелся тесный ряд коморочек, похожих на стойла; над каждой была надпись с ценою; в душной темноте белели голые тела женщин.

И надо всем этим шумом и гамом, надо всей этой человеческой грязью и бедностью, слышались далекие вздохи прибоя, ропот невидимого моря.

У самых окон подвальной кухни финикийского купца оборванцы играли в кости и болтали. Из кухни долетал теплыми клубами чад кипящего жира, запах пряностей и жареной дичи. Голодные вдыхали его, закрывая глаза от наслаждения.

Христианин, красильщик пурпура, выгнанный с богатой тирской фабрики за воровство, говорил, с жадностью обсасывая лист мальвы, выброшенный Поваром:

– Что в Антиохии, добрые люди, делается, об этом и говорить-то на ночь страшно. Намедни голодный народ растерзал префекта Феофила. А за что. Бог весть. Когда дело сделали, вспомнили, что бедняга был добрый и благочестивый человек. Говорят, цезарь на него указал народу...

Дряхлый старичок, очень искусный карманный воришка, произнес:

– Я видел однажды цезаря. Не знаю. Мне понравился. Молоденький; волоски светлые, как лен; личико сытое, но добренькое. А сколько убийств, Господи, сколько убийств! Разбой. По улицам ходить страшно.

– Все это – не от цезаря, а от жены его, от Константины. Ведьма?

Странной наружности люди подошли к разговаривавшим и наклонились, как будто желая принять участие в беседе. Если бы свет от кухонной печи был сильнее, можно было бы рассмотреть, что лица их подмалеваны, одежды замараны и изорваны неестественно, как у нищих в театре. Несмотря на лохмотья, руки у самого грязного были белые, тонкие, с розовыми, обточенными ногтями.

Один из них сказал товарищу тихонько на ухо:

– Слушай, Агамемнон: здесь тоже говорят о цезаре.

Тот, кого звали Агамемноном, казался пьяным; он пошатывался; борода, неестественно густая и длинная, делала его похожим на сказочного разбойника; но глаза были добрые, ясно-голубые, с детским выражением. Товарищи испуганным шепотом удерживали его:

– Осторожнее!

Карманный воришка заговорил жалобным голосом, точно запел:

– Нет, вы только скажите мне, мужи-братья, разве это хорошо? Хлеб дорожает каждый день; люди мрут, как мухи. И вдруг... нет, вы только рассудите, пристойно ли это? Намедни из Египта приезжает огромный трехмачтовый корабль; обрадовались, думаем – хлеб. Цезарь, говорят, выписал, чтобы накормить народ. И что же, что бы это было, добрые люди – ну, как вы думаете, что? – Пыль из Александрии, особенная, розовая, ливийская, для натирания атлетов, пыль – для собственных придворных гладиаторов цезаря, пыль вместо хлеба? Разве это хорошо? – заключил он, делая негодующие знаки ловкими воровскими пальцами.

Агамемнон подталкивал товарища:

– Спроси имя. Имя!

– Тише... нельзя! Потом...

Чесальщик шерсти заметил:

– У нас, в Селевкии, еще спокойно. А в Антиохии – предательства, доносы, розыски...

Красильщик, который в последний раз лизнул мальву и отбросил ее, убедившись, что она потеряла вкус, проворчал себе под нос мрачно:

– А вот, даст Бог, человеческое мясо и кровь будут скоро дешевле хлеба и вина...

Чесальщик шерсти, горький пьяница и философ, тяжело вздыхал:

– Ох-ох-ох! Бедные мы людишки! Блаженные олимпийцы играют нами, как мячиками – то вправо, то влево, то вверх, то вниз: люди плачут, а боги смеются.

Товарищ Агамемнона успел вмешаться в разговор.

Ловко, как будто небрежно, выпросил имена; подслушал даже то, что странствующий сапожник сообщил на ухо чесальщику о предполагаемом заговоре среди солдат претории. Потом, отойдя, записал имена разговаривавших изящным стилосом на восковые дощечки, где хранилось много имен.

В это время с рыночной площади донеслись хриплые, глухие, подобные реву какого-то подземного чудовища, не то смеющиеся, не то плачущие звуки водяного органа: слепой раб-христианин за четыре оболы в день, у входа в балаган, накачивал воду, производившую в машине эти смешные и плачевные звуки.

Агамемнон потащил спутников в балаган, обтянутый, наподобие палатки, голубою тканью с серебряными звездами.

Фонарь озарял черную доску-объявление о предстоящем зрелище, написанное мелом по-сирийски и по-гречески.

Внутри было душно. Пахло чесноком и копотью масляных плошек. В дополнение органа, пищали две пронзительные флейты, и черный эфиоп, вращая белками, ударял в бубны.

Плясун прыгал и кувыркался на канате, хлопая в лад руками. Он пел модную песенку:

Hue, hue convenite nunc  
Spatolocinaedi!

Pedem tendite,  
Cursum addite.  
Эй, вы! Соберем мальчиголоубцев изошренных!  
Все мчитесь сюда быстрой ногой, пятою легкой...

Этот худой курносый плясун был стар, отвратителен и весел. С бритого лба его струились капли пота, смешанного с румянами; морщины, залепленные белилами, походили на трещины стен, у которой известка тает под дождем.

Когда он удалился, орган и флейта умолкли. На подмости выбежала пятнадцатилетняя девочка, чтобы исполнить знаменитую, до безумия любимую народом, пляску -кордакс. Отцы церкви громили ее, римские законы запрещали – ничто не помогало: кордакс плясали всюду, бедные и богатые, жены сенаторов и уличные плясуньи.

Агамемнон проговорил с восторгом:

– Что за девочка!

Благодаря кулакам спутников, он пробился в первый ряд.

Худенькое, смуглое тело нубиянки обвивала, только вокруг бедер, почти воздушная, бесцветная ткань; волосы подымались над головой мелкими, пушисто-черными кудрями, как у женщин Эфиопии; лицо чистого египетского облика напоминало лица сфинксов.

Кроталистрия начала плясать, как будто скучая, лениво и небрежно. Над головой, в тонких руках, медные бубны – кроталии чуть слышно бряцали.

Потом движения ускорились. И вдруг, из-под длинных ресниц, сверкнули желтые глаза, прозрачные, веселые, как у хищных зверей. Она выпрямилась, и медные кроталии зазвенели пронзительно, с таким вызовом, что вся толпа дрогнула.

Тогда девочка закружилась, быстрая, тонкая, гибкая, как змейка. Ноздри ее расширились. Из горла вырвался странный крик. При каждом порывистом движении две маленькие, темные груди, как два спелых плода под ветром, трепетали, стянутые зеленой шелковой сеткой, и острые, сильно нарумяненные концы их алели, выступая из-под сетки.

Толпа ревела от восторга. Агамемнон безумствовал, товарищи держали его за руки.

Вдруг девочка остановилась, как будто в изнеможении.

Легкая дрожь пробежала с головы до ног по смуглым членам. Наступила тишина. Над закинутой головой нубиянки, с почти неуловимым, замирающим звоном, быстро и нежно, как два крыла пойманной бабочки, трепетали бубны. Глаза потухли; но в самой глубине их мерцали две искры. Лицо было строгое, грозное. А на слишком толстых, красных губах, на губах сфинкса, дрожала слабая улыбка. И в тишине медные кроталии замерли.

Толпа так закричала, захлопала, что голубая ткань с блестками всколебалась, как парус под бурей, и хозяин думал, что балаган рухнет.

Спутники не могли удержать Агамемнона. Он бросился, приподняв занавес, на сцену, через подмости, в коморку для танцовщиц и мимов.

Товарищи шептали ему на ухо:

– Подожди! Завтра все будет сделано. А теперь могут...

Агамемнон перебил:

– Нет, сейчас!

Он подошел к хозяину, хитрому седому греку Мирмексу, и сразу, почти без объяснений, высыпал ему в полу туники пригоршню золотых монет.

– Кроталистрия-твоя?

– Да. Что угодно моему господину?

Мирмекс с изумлением смотрел то на разорванную одежду Агамемнона, то на золото.

– Как тебя зовут, девочка?

– Филлис.

Он и ей дал денег, не считая. Грек что-то шепнул на ухо Филлис. Она высоко подбросила звонкие монеты, поймала их на ладонь, и, засмеявшись, сверкнула на Агамемнона своими желтыми глазами. Он сказал:

– Пойдем со мною.

Филлис накинула на голые смуглые плечи темную хламиду и выскользнула вместе с ним на улицу.

Она спросила:

– Куда?

– Не знаю.

– К тебе?

– Нельзя. Я живу в Антиохии.

– А я только сегодня на корабле приехала и ничего не знаю.

– Что же делать?

– Подожди, я видела давеча в соседнем переулке незапертый храм Приапа. Пойдем туда.

Филлис потащила его, смеясь. Товарищи хотели следовать. Он сказал:

– Не надо! Оставайтесь здесь.

– Берегись! Возьми по крайней мере оружие. В этом предместье ночью опасно.

И вынув из-под одежды короткий меч, вроде кинжала, с драгоценной рукояткой, один из спутников подал его почтительно.

Спотыкаясь во мраке, Агамемнон и Филлис вошли в глубокий темный переулок, недалеко от рынка.

– Здесь, здесь! Не бойся. Входи.

Они вступили в преддверье маленького пустынного храма; лампада на цепочках, готовая потухнуть, слабо освещала грубые, старые столбы.

– Притвори дверь.

И Филлис неслышно сбросила на каменный пол мягкую, темную хламиду. Она беззвучно хохотала. Когда Агамемнон сжал ее в объятьях, ему показалось, что вокруг тела его обвилась страшная, жаркая змея. Желтые хищные глаза сделались огромными.

Но в это мгновение из внутренности храма раздалось пронзительное гоготание и хлопанье белых крыльев, поднявших такой ветер, что лампада едва не потухла.

Агамемнон выпустил из рук Филлис и пролепетал:

– Что это?..

В темноте мелькнули белые призраки. Струсивший Агамемнон перекрестился.

Вдруг что-то сильно ущипнуло его за ногу. Он закричал от боли и страха; схватил одного неизвестного врага за горло, другого пронзил мечом. Поднялся оглушительный крик, визг, гоготание и хлопанье. Лампада в последний раз перед тем, чтобы угаснуть, вспыхнула – и Филлис закричала, смеясь:

– Да это гуси, священные гуси Приапа! Что ты наделал!..

Дрожащий и бледный победитель стоял, держа в одной руке окровавленный меч, в другой – убитого гуся.

С улицы послышались громкие голоса, и целая толпа с факелами ворвалась в храм. Впереди была старая жрица Приапа-Скабра. Она мирно, по своему обыкновению, распивала вино в соседнем кабачке, когда услышала крики священных гусей и поспешила на помощь, с толпой бродяг. Крючковатый красный нос, седые растрепанные волосы, глаза с острым блеском, как два стальных клинка, делали ее похожей на фурию. Она вопила:

– Помогите! Помогите! Храм осквернен! Священные гуси Приапа убиты! Видите, это христиане-безбожники.

Держите их!

Филлис, закрывшись с головой плащом, убежала. Толпа влекла на рыночную площадь Агамемнона, который так растерялся, что не выпускал из рук мертвого гуся. Скабра звала агораномов – рыночных стражей.

С каждым мгновением толпа увеличивалась.

Товарищи Агамемнона прибежали на помощь. Но было поздно: из притонов, из кабаков, из лавок, из глухих переулков мчались люди, привлеченные шумом. На лицах было то выражение радостного любопытства, которое всегда является при уличном происшествии. Бежал кузнец с молотом в руках, соседки-старухи, булочник, обмазанный тестом, сапожник мчался, прихрамывая; и за всеми рыжеволосый крохотный жиденок летел, с визгом и хохотом, ударяя в оглушительный медный таз, как будто звоня в набат.

Скабра вопила, вцепившись когтями в одежду Агамемнона:

– Подожди! Доберусь я до твоей гнусной бороды!

Клочка не оставлю! Ах ты, падаль, снесь воронья! Да ты и веревки не стоишь, на которой тебя повесят!

Явились, наконец, заспанные агораномы, более похожие на воров, чем на блюстителей порядка.

В толпе был такой крик, смех, брань, что никто ничего не понимал. Кто-то вопил: «убийцы!», другие: «ограбили!», третьи: «пожар!» И в это мгновение, побеждая все, раздался громоподобный голос полуголого рыжего великана с лицом, покрытым веснушками, по ремеслу – банщика, по призванию – рыночного оратора:

– Граждане! Давно уже слежу я за этим мерзавцем и его спутниками. Они записывают имена. Это соглядатаи, соглядатаи цезаря!

Скабра, исполняя давнее намерение, вцепилась одной рукой в бороду, другой – в волосы Агамемнона. Он хотел оттолкнуть ее, но она рванула изо всей силы – и длинная черная борода и густые волосы остались у нее в руках; старуха грохнулась навзничь. Перед народом, вместо Агамемнона, стоял красивый юноша с вьющимися мягкими светлыми, как лен, волосами и маленькой бородкой.

Толпа умолкла в изумлении. Потом опять загудел голос банщика:

– Видите, граждане, это – переодетые доносчики!

Кто-то крикнул:

– Бей! бей!

Толпа всколыхнулась. Полетели камни. Товарищи обступили Агамемнона и обнажили мечи. Чесальщик шерсти сброшен был первым ударом; он упал, обливаясь кровью.

Жиденка с медным тазом растоптали. Лица сделались зверскими.

В это мгновение десять огромных рабов-пафлагонцев, с пурпурными носилками на плечах, раскинули толпу.

– Спасены! – воскликнул белокурый юноша и бросился с одним из спутников в носилки.

Пафлагонцы подняли их на плечи и побежали.

Разъяренная толпа остановила бы и растерзала их, если бы не крикнул кто-то:

– Разве вы не видите, граждане? Это цезарь, сам цезарь Галл!

Народ остоленел от ужаса.

Пурпурные носилки, покачиваясь на спинах рабов, как лодка на волнах, исчезали в глубине неосвещенной улицы.

Шесть лет прошло с того дня, как Юлиан и Галл были заключены в каппадокийскую крепость Мацеллум. Император Констанций возвратил им свою милость. Девятнадцатилетнего Юлиана вызвали в Константинополь и потом позволили ему странствовать по городам Малой Азии;

Галла император сделал своим соправителем, цезарем и отдал ему в управление Восток. Впрочем, неожиданная милость не предвещала ничего доброго. Констанций любил поражать врагов, усыпив их ласками.

– Ну, Гликон, как бы теперь ни убеждала меня Константина, не выйду я больше на улицу с поддельными волосами. Кончено!

– Мы предупреждали твое величество...

Но цезарь, лежа на мягких подушках носилок, уже забыл недавний страх. Он смеялся:

– Гликон! Гликон! Видел ты, как проклятая старуха покатила навзничь с бородой в руках? Смотрю – а уж она лежит!

Когда они вошли во дворец, цезарь приказал:

– Скорее ванну и ужинать! Проголодался.

Придворный подошел с письмом.

– Что это? Нет, нет, дела до завтрашнего утра...

– Милостивый цезарь, важное письмо – прямо из лагеря императора Констанция.

– От Констанция! Что такое? Подай...

Он распечатал, прочел и побледнел; колени его подкосились; если бы придворные не поддержали Галла, он упал бы.

Император в изысканных, даже льстивых выражениях приглашал своего «нежно любимого» двоюродного брата в Медиолан; вместе с тем повелевал, чтоб два легиона, стоявшие в Антиохии, – единственная защита Галла, немедленно высланы были ему, Констанцию. Он, видимо, хотел обезоружить и заманить врага.

Когда цезарь пришел в себя, он произнес слабым голосом:

– Позовите жену...

– Супруга милостивого государя только что изволила уехать в Антиохию.

– Как? И ничего не знает?

– Не знает.

– Господи! Господи! Да что же это такое? Без нее!

Скажите посланному от императора... Да нет, не говорите ничего. Я не знаю. Разве я могу без нее? Пошлите гонца.

Скажите, что цезарь умоляет вернуться... Господи, что же делать?

Он ходил, растерянный, хватаясь за голову, крутил дрожащими пальцами мягкую светлую бородку и повторял беспомощно:

– Нет, нет, ни за что не поеду. Лучше смерть... О, я знаю Констанция!

Подошел другой придворный с бумагой:

– От супруги цезаря. Уезжая, просила, чтобы ты подписал.

– Что? Опять смертный приговор? Клемаций Александрийский! Нет, нет, это чересчур.

Так нельзя. По три в день!

– Супруга твоя изволила...

– Ах, все равно! Давайте перо! Теперь все равно...

Только зачем уехала? Разве я могу один...

И подписав приговор, он взглянул своими голубыми детскими и добрыми глазами.

– Ванна готова; ужин сейчас подают.

– Ужин? Не надо... Впрочем, что такое?

– Есть трюфели.

– Свежие?

– Только что с корабля из Африки.

– Не подкрепиться ли? А? Как вы думаете, друзья мои? Я так ослабел... Трюфели? Я еще утром думал...

На растерянном лице его промелькнула беззаботная улыбка.

Перед тем, чтобы войти в прохладную воду, мутно-белую, опаловую от благовоний, цезарь проговорил, махнув рукой:

– Не надо думать...

Господи,

– Все равно, все равно... Не надо думать"... – помилуй нас грешных!.. Может быть, Константина какнибудь и устроит?

Откормленное, розовое лицо его совсем повеселело, когда с привычным наслаждением погрузился он в душистую купальню.

– Скажите повару, чтоб кислый красный соус к трюфелям!

## VII

В городах Малой Азии – Никомидии, Пергаме, Смирне – девятнадцатилетний Юлиан, искавший эллинской мудрости, слышал о знаменитом теурге и софисте, Ямалике из Халкиды, ученике Порфирия неоплатоника, о божественном Ямвлике, как все его называли.

Он поехал к нему в город Эфес.

Ямвлик был старичок, маленький, худенький, сморщенный. Он любил жаловаться на свои недуги – подагру, ломоту, головную боль; бранил врачей, но усердно лечилс наслаждением говорил о припарках, настойках, лекарствах, пластырях; ходил в мягкой и теплой двойной тунике, даже летом, и никак не мог согреться; солнце любил, как ящерица.

С ранней юности Ямвлик отвык от мясной пищи и чувствовал к ней отвращение; не понимал, как люди могут есть живое. Служанка приготавливала ему особую ячменную кашу, немного теплого вина и меду; даже хлеба старик не мог разжевать беззубыми челюстями.

Множество учеников, почтительных, благоговейных – из Рима, Антиохии, Карфагена, Египта, Месопотамии, Персии – теснилось вокруг него; все верили, что Ямвлик творит чудеса. Он обращался с ними, как отец, которому надоело, что у него так много маленьких беспомощных детей. Когда они начинали спорить или ссориться, учитель махал руками, сморщив лицо, как будто от боли. Он говорил тихим голосом, и чем громче становился крик спорящих, тем Ямвлик говорил тише; не выносил шума, ненавидел громкие голоса, скрипучие сандалии.

Юлиан смотрел с разочарованием на прихотливого, зябкого, больного старичка, не понимая, какая власть притягивает к нему людей.

Он припоминал рассказ о том, как ученики однажды ночью видели Божественного, поднятого во время молитвы чудесною силою над землею на десять локтей и окруженного золотым сиянием; другой рассказ о том, как Учитель, в сирийском городе Гадара, из двух горячих источников вызвал Эроса и Антэроса – одного радостного светлокудрого, другого скорбного темного гения любви; оба ласкались к Ямвлику, как дети, и по его мановению исчезли.

Юлиан прислушивался к тому, что говорил учитель, и не мог найти власти в словах его. Метафизика школы Порфирия показалась Юлиану мертвой, сухой и мучительно сложной. Ямвлик как будто играл, побеждая в спорах диалектические трудности. В его учении о Боге, о мире, об Идеях, о Плотиновой Триаде было глубокое книжное знание – но ни искры жизни. Юлиан ждал не того.

И все-таки ждал.

У Ямвлика были странные зеленые глаза, которые еще более резко выделялись на потемневшей сморщенной коже лица: такого зеленоватого цвета бывает иногда вечернее небо, между темными тучами, перед грозой. Юлиану казалось, что в этих глазах, как будто нечеловеческих, но еще менее божественных, сверкает та сокровенная змеиная мудрость, о которой Ямвлик ни слова не говорил ученикам. Но вдруг, усталым тихим голосом. Божественный спрашивал, почему не готова ячменная каша или припарки, жаловался на ломоту в членах – и обаяние исчезало.

Однажды гулял он с Юлианом за городом, по берегу моря. Был нежный и грустный вечер. Вдали, над гаванью Панормос, белели уступы и лестницы храма Артемиды Эфесской, увенчанные изваяниями. На песчаном берегу Каистра (здесь, по преданию, Латона родила Артемиду и Аполлона) тонкий темный тростник не шевелился. Дым многочисленных жертвенников, из священной рощи Ортигии, подымался к небу прямыми столбами. К югу синели горы Самоса. Прибой был тих, как дыхание спящего ребенка; прозрачные волны набегали на укатанный, черный педок; пахло разогретой дневными лучами соленой водой и морскими травами. Заходящее солнце скрылось за тучи и позлатило их громады.

Ямвлик сел на камень; Юлиан у ног его. Учитель гладил его жесткие черные волосы.

– Грустно тебе?

– Да.

– Знаю. Ты ищешь и не находишь. Не имеешь силы сказать: Он есть, и не смеешь сказать: Его нет.

– Как ты угадал, учитель?..

– Бедный мальчик! Вот уже пятьдесят лет, как я страдаю той же болезнью. И буду страдать до смерти. Разве я больше знаю Его, чем ты? Разве я нашел? Это – вечные муки деторождения. Перед ними все остальные муки – ничто. Люди думают, что страдают от голода, от жажды, от боли, от бедности: на самом деле, страдают они только от мысли, что, может быть. Его нет. Это – единственная скорбь мира. Кто дерзнет сказать: Его нет, и кто знает, какую надо иметь силу, чтобы сказать: Он есть.

– И ты, даже ты никогда к Нему не приближался?

– Три раза в жизни испытал я восторг – полное слияние с Ним. Плотин четыре раза. Порфирий пять. У меня были три мгновения в жизни, из-за которых стоило жить.

– Я спрашивал об этом твоих учеников: они не знают...

– Разве они смеют знать? С них довольно и шелухи мудрости: ядро почти для всех смертельно.

– Пусть же я умру, учитель, – дай мне его!

– Посмеешь ли ты взять?

– Говори, говори же!

– Что я могу сказать! Я не умею... И хорошо ли говорить об этом? Прислушайся к вечерней тишине: она лучше всяких слов говорит.

По-прежнему гладил он Юлиана по голове, как ребенка. Ученик подумал: «вот оно-вот, чего я ждал!». Он обнял колени Ямвликаи, подняв к нему глаза с мольбою, произнес:

– Учитель, сжался! Открой мне все. Не покидай меня...

Ямвлик заговорил тихо, про себя, как будто не слыша и не видя его, устремив странно неподвижные зеленые глаза свои на тучи, изнутри позлащенные солнцем:

– Да, да... Мы все забыли Голос Отчий. Как дети, разлученные с Отцом от колыбели, мы и слышим, и не узнаем его. Надо, чтобы все умолкло в душе, все небесные и земные голоса. Тогда мы услышим Его... Пока сияет разум и как полуденное солнце озарят душу, мы остаемся сами в себе, не видим Бога. Но когда разум склоняется к закату, на душу нисходит восторг, как ночная роса...

Злые не могут чувствовать восторга; только мудрый делается лирой, которая вся дрожит и звучит под рукою Бога.

Откуда этот свет, озаряющий душу? – Не знаю. Он приходит внезапно, когда не ждешь; его нельзя искать. Бог недалеко от нас. Надо приготовиться; надо быть спокойным и ждать, как ждут глаза, чтобы солнце взошло – устремилось, по выражению поэта, из темного Океана.

Бог не приходит и не уходит. Он только является. Вот Он.

Он отрицание мира, отрицание всего, что есть. Онничто. Он – все.

Ямвлик встал с камня и медленно протянул исхудалые руки.

– Тише, тише, говорю я, – тише! Внимайте Ему все.

Вот-Он. Да умолкнет земля и море, и воздух, и даже небо. Внимайте! Это Он наполняет мир, проникает дыханием атомы, озаряет материю – Хаос, предмет ужаса для богов, – как вечернее солнце позлащает темную тучу...

Юлиан слушал, и ему казалось, что голос учителя, слабый и тихий, наполняет мир, достигает до самого неба, до последних пределов моря. Но скорбь Юлиана была так велика, что вырвалась из груди его стоном:

– Отец мой, прости, но если так, – зачем жизнь? зачем эта вечная смена рождения и смерти? зачем страдание? зачем зло? зачем тело? зачем сомнение? зачем тоска по невозможному?..

Ямвлик взглянул кротко и опять провел рукой по волосам его:

– Вот где тайна, сын мой. Зла нет, тела нет, мира нет, если есть Он. Или Он, или мир. Нам кажется, что есть зло, что есть тело, что есть мир. Это – призрак, обман жизни. Помни: у всех одна душа, у всех людей и даже бессловесных тварей. Все мы вместе покоились некогда в лоне Отца, в свете немерцающем. Но взглянули однажды с высоты на темную мертвую материю, и каждый увидел в ней свой собственный образ, как в зеркале.

И душа сказала себе: "Я могу, я хочу быть свободной.

Я – как Он. Неужели я не дерзну отпасть от Него и быть всем?".-Душа, как Нарцисс в ручье, пленилась красотой собственного образа, отраженного в теле. И пала. Хотела Пасть до конца, отделиться от Бога навеки, но не могла: ноги смертного касаются земли, чело – выше горних небес. и вот, по вечной лестнице рождения и смерти, души всех существ восходят, нисходят к Нему и от Него. Пытаются уйти от Отца и не могут. Каждой душе хочется самой быть Богом, но напрасно: она скорбит по Отчему лону; на земле ей нет покоя; она жаждет вернуться к Единому. Мы должны вернуться к Нему, и тогда все будут Богом, и Бог будет во всех. Разве ты один тоскуешь о нем? Посмотри, какая небесная грусть в молчании природы. Прислушайся: разве ты не чувствуешь, что все грустит о нем?

Солнце закатилось. Золотые, как будто раскаленные края облаков потухали. Море сделалось бледным и воздушным, как небо, небо-глубоким и ясным, как море.

По дороге промчалась колесница. В ней были юноша и женщина, может быть, двое влюбленных. Женский голос запел грустную и знакомую песнь любви. Потом все опять затихло и сделалось еще грустнее. Быстрая южная ночь слетала с небес.

Юлиан прошептал:

– Сколько раз я думал: отчего такая грусть в природе? Чем она прекраснее, тем грустнее...

Ямвлик ответил с улыбкой:

– Да, да... Посмотри: она хотела бы сказать, о чем грустит,-и не может. Она немая. Спит и старается вспомнить Бога во сне, сквозь сон, но не может, отягощенная материей. Она созерцает Его смутно и дремотно. Все миры, все звезды, и море, и земля, и животные, и растения, и люди, все это-сны природы о Боге. То, что она созерцает,-рождается и умирает. Она создает одним созерцанием, как бывает во сне; создает легко, не зная ни усилия, ни преграды. Вот почему так прекрасны и вольны ее создания, так беспцельны и божественны. Игра сновидений природы – подобна игре облаков. Без начала, без конца.

Кроме созерцания, в мире нет ничего. Чем оно глубже, тем оно тише. Воля, борьба, действие – только ослабленное, недоконченное или помраченное созерцание Бога. Природа, в своем великом бездействии, создает формы, подобно геометру: существует то, что он видит; так и она роняет из своего материнского лона формы за формами. Но ее безмолвное, смутное созерцание-только образ иного, яснейшего. Природа ищет слова и не находит. Природа – спящая мать Кибела, с вечно закрытыми веждами; только человек нашел слово, которого она искала и не нашла: душа человеческая – это природа, открывшая сонные вежды, проснувшаяся и готовая увидеть Бога уже не во сне, а въяве, лицом к лицу...

Первые звезды выступили на потемневшем и углубившемся небе, то совсем потухали, то вспыхивали, словно вращались, как привешенные к тверди крупные алмазы; затеплились новые и новые, неисчислимые. Ямвлик указал на них.

– Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды?

Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет сеть; сеть движется, но не может остановить воду; мир хочет и не может уловить Бога.

Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, в которую закинута сеть. Если бы мир не двигался, Бог не создавал бы ничего, не вышел бы из покоя, ибо зачем и куда ему стремиться? Там, в царстве вечных Матерей, в лоне Мировой Души, таятся семена, Идеи-Формы всего, что есть, и было, и будет: таится Лагос-зародыш и кузнечика, и былинки, и олимпийского бога...

Тогда Юлиан воскликнул громко, и голос его раздался в тишине ночи, подобно крику смертельной боли:

– Кто же Он? Кто Он? Зачем Он не отвечает, когда мы зовем? Как Его имя? Я хочу знать Его, слышать и видеть! Зачем Он бежит от моей мысли? Где Он?

– Дитя, что значит мысль перед Ним? Ему нет имени: Он таков, что мы умеем сказать лишь то, чем Он не должен быть, а то, что Он есть, мы не знаем. Но разве ты можешь страдать и не хвалить Его? разве ты можешь любить и не хвалить Его? разве ты можешь проклинать и не хвалить Его? Создавший все, сам Он – ничто из всего, что создал. Когда ты говоришь: Его нет, ты воздаешь Ему не меньшую хвалу, чем если молвишь: Он есть.

О Нем ничего нельзя утверждать, ничего-ни бытия, ни сущности, ни жизни, ибо Он выше всякого бытия, выше всякой сущности, выше всякой жизни. Вот почему я сказал, что Он-отрицание мира, отрицание мысли твоей.

Отрекись от сущего, от всего, что есть – и там, в бездне бездн, в глубине несказанного мрака, подобного свету, ты найдешь Его. Отдай Ему и друзей, и родных, и отчизну, и небо, и землю, и себя самого, и свой разум. Тогда ты уже не увидишь света, ты сам будешь свет. Ты не скажешь: Он и Я; ты почувствуешь, что Он и Ты-одно.

И душа твоя посмеется над собственным телом, как над призраком. Тогда – молчание; тогда не будет слов. И если мир в это мгновение рушится, ты будешь рад, потому что зачем тебе мир, когда ты останешься с Ним? Душа твоя не будет желать, потому что Он не желает, она не будет жить, потому что Он выше жизни, она не будет мыслить, потому что Он выше мысли. Мысль есть искание света, а Он не ищет света, потому что сам Он – Свет. Он проникает всю душу и претворяет ее в Себя. И тогда, бесстрастная, одинокая, покоится она выше разума, выше добродетели, выше царства идей, выше красоты – в бездне, в лоне Отца Светов. Душа становится Богом, или, лучше сказать, только вспоминает, что во веки веков она была, и есть, и будет Богом...

Такова, сын мой, жизнь олимпийцев, такова жизнь людей богоподобных и мудрых: отречение от всего, что есть в мире, презрение к земным страстям, бегство души к Богу, которого она видит лицом к лицу.

Он умолк, и Юлиан упал к его ногам, не смел прикоснуться к ним, и только целовал землю, которой ноги святого касались. Потом ученик поднял лицо и заглянул в эти странные зеленые глаза, в которых сияла разоблаченная тайна «змеиной» мудрости; они казались спокойнее и глубже неба: как будто изливалась из них святая сила.

Юлиан прошептал:

– Учитель, ты можешь все. Верую! Прикажи горам – горы сдвинутся. Будь, как Он! Сделай чудо! Сотвори невозможное! Помилуй меня! Верую, верую!..

– Бедный сын мой, о чем ты просишь? То чудо, которое может совершиться в душе твоей, разве не больше всех чудес, какие я могу сотворить? Дитя мое, разве не страшное и не благодатное чудо – та власть, во имя которой ты смеешь сказать: Он есть, а если нет Его, все равно, Он будет. И ты говоришь: Да будет Он-я так хочу!

Когда учитель и ученик, возвращаясь с прогулки, проходили Панормос, многолюдную гавань Эфеса, они заметили необычайное волнение.

Многие бежали по улицам, махали пылающими смоляными факелами и кричали: – Христиане разрушают храмы! Горе нам! Другие:

– Смерть олимпийским богам! Астарта побеждена Христом!

Ямвлик думал пройти пустынными переулками. Но бегущая толпа увлекла их по набережной Каистра, мимо капища Артемиды Эфесской. Великолепный храм, создание Динократа, стоял, как твердыня, суровые темный и незыблемый, выделяясь на звездном небе. Отблеск факелов дрожал на исполинских столбах с маленькими кариатидами вместо подножий. Не только вся Римская империя, но и все народы земли чтили эту святыню. Кто-то в толпе закричал неуверенно: – Велика Артемида Эфесская! Ему ответили сотни голосов:

– Смерть олимпийским богам и твоей Артемиде! Над черным зданием городской оружейной палаты подымалось кровавое зарево.

Юлиан взглянул на божественного учителя и не узнал его. Ямвлик опять превратился в робкого, больного старика. Он жаловался на головную боль, высказывал страх, что ночью начнется ломота, что служанка забыла приготовить припарки. Юлиан отдал учителю верхний плащ. Но ему было все-таки холодно. С болезненным выражением лица затыкал он уши, чтобы не слышать уличного крика и хохота. Ямвлик больше всего в мире боялся толпы; говорил, что нет глупее и отвратительнее беса, чем дух народа.

Теперь указывал он ученику на лица пробежавших мимо людей:

– Посмотри, какое уродство, какая пошлость и какая уверенность в правоте своей! Разве не стыдно быть человеком-таким же телом, такую же грязью, как эти?..

Старушка-христианка причитала:

– И говорит мне больной внучек: свари мне, бабушка, мясной похлебки. – Хорошо, говорю, милый, вот уж пойду на рынок, принесу мяса. – Сама думаю: мясо теперь, пожалуй, дешевле пшеничного хлеба. Купила на пять обол; сварила похлебку. А соседка-то на дворе кричит: – Что ты варишь, или не знаешь, нынче мясо на рынке поганое? – Как, говорю, поганое? Что такое? – А так, говорит, что на поругание добрым христианам, ночью жрецы богини Деметры весь рынок, все лавки мясные жертвенною водою окропили. Никто в городе не ест поганого мяса. За то жрецов идольских побивают камнями, а бесовское капище Деметры разрушат. – Я и выплеснула похлебку собаке. Шутка сказать – пять обол! В целый день не наработаешь. А все-таки внучка не опоганила.

Другие сообщили, как в прошлом году один скупой христианин наелся жертвенного мяса, и вся утроба у него сгнила, и такой был смрад в доме, что родные убежали.

Пришли на площадь. Здесь был маленький храм Деметры-Изиды-Астарты – Трехликой Гекаты, таинственной богини земного плодородия, могучей и любвеобильной Кибелы, Матери богов. Храм со всех сторон облепили монахи, как большие черные мухи кусок медовых сот; монахи ползли по белым выступам, карабкались по лестницам с пением священных псалмов, разбивали изваяния. Столбы дрожали; летели осколки нежного мрамора; казалось, страдает, как живое тело. Пытались поджечь здание, но не могли: храм весь был из мрамора.

Вдруг раздался внутри оглушительный и вместе с тем певучий звон. К небу поднялся торжествующий вопль народа.

– Веревки, веревки! За руки, за ноги!

С пением молитв и радостным хохотом, из дверей храма толпа на веревках повлекла вниз по ступеням звеневшее, серебряное, бледное тело богини, Матери богов – творение Скопаса.

– В огонь, в огонь!

И ее потащили по грязной площади.

Монах-законовед провозглашал отрывок из недавнего закона императора Константина, брата Констанция:

«Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania» – «Да прекратится суеверие, да будет уничтожено безумие жертвоприношений».

– Не бойтесь ничего! Бейте, грабьте все в бесовском капище!

Другой, при свете факелов, прочел в пергаментном свитке выдержку из книги Фирмика Матерна «De errore profanarum religionum».

«О заблуждении религиозных невежд» (лат.).

«Святые Императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей».

Над толпою проносился крик:

– Смерть, смерть олимпийским богам! Огромный монах с растрепанными черными волосами, прилипшими к потному лбу, занес над богиней медный топор и выбирал место, чтобы ударить.

Кто-то посоветовал:

– В чрево, в бесстыжее чрево!

Серебряное тело гнулось, изуродованное. Удары звенели, оставляя рубцы на чреве Матери богов и людей, Деметры-Кормилицы.

Старый язычник закрыл лицо одеждой, чтобы не видеть кошунства; он плакал и думал, что теперь все кончено-мир погиб: Земля-Деметра не захочет родить людям колоса.

Отшельник, пришедший из пустыни Месопотамии, в овечьей шкуре, с посохом и выдолбленной тыквой вместо посуды, в грубых сандалиях, подкованных железными гвоздями, подбежал к богине.

– Сорок лет не мылся я, чтобы не видеть собственной наготы и не соблазниться. А как придешь, братя, в город, так всюду только и видишь голые тела богов окаянных. Долго ли терпеть бесовский соблазн? Всяду поганые идолы: в домах, на улицах, на крышах, в банях, под ногами, над головой. Тьфу, тьфу, тьфу! Не отплюешься!..

И с ненавистью старик ударил сандалией в грудь Кибелы. Он топтал эту голую грудь, и она казалась ему живой; он хотел бы раздавить ее под острыми гвоздями тяжелых сандалий. Он шептал, задыхаясь от злости:

– Вот тебе, вот тебе, гнусная, голая! Вот тебе, сука!..

Под ногой его уста богини по-прежнему хранили спокойную улыбку.

Толпа подняла ее на руки, чтобы бросить в костер.

Пьяный ремесленник, с дыханием, пропитанным чесноком, плюнул ей прямо в лицо.

Костер был огромный; в него свалили все деревянные рыночные лавки, оскверненные жертвенной водой. Высоко над толпой тихие звезды мерцали сквозь дым.

Богиню бросили в костер, чтобы расплавить серебряное тело. И опять, с нежным, певучим звоном, ударилась она о пылающие головни.

– Слиток в пять талантов. Тридцать тысяч маленьких серебряных монет. Половину пошлем императору на жалование солдатам, другую – голодным. Кибела принесет, по крайней мере, пользу народу. Из богини-тридцать тысяч монет для солдат и для нищих.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.